

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



НЕЧИСТАЯ
СИЛА



Валентин Пикуль
Нечистая сила. Том 2

«ВЕЧЕ»

1979

Пикуль В. С.

Нечистая сила. Том 2 / В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1979

ISBN 978-5-4444-9069-3

«Нечистая сила» — один из лучших романов Валентина Пикуля, а также достоверное повествование о жизни и гибели «святого черта» Григория Распутина. Его действие разворачивается в России в период с лета 1912-го по февраль 1917 года.

ISBN 978-5-4444-9069-3

© Пикуль В. С., 1979

© ВЕЧЕ, 1979

Содержание

Часть пятая. Зловещие торжества	6
Прелюдия к пятой части	6
1. Вербовка агентов	10
2. Слепая кишка	15
3. Медленное кровотечение	20
4. В канун торжества	24
5. Романовские торжества	29
6. Горемычные истории	34
7. «Мы готовы!»	38
8. Герои сумерек	43
9. Июльская лихорадка	47
10. «Побольше допинга!»	55
11. Зато Париж был спасен	59
Финал пятой части	63
Часть шестая. Пир во время войны	67
Прелюдия к шестой части	67
1. Все ставки на ставку	71
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Валентин Пикуль

Нечистая сила. Том 2

* * *

© Пикуль В. С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Часть пятая. Зловещие торжества (Лето 1912-го – осень 1914-го)

В сущности, капризная судьба послала Распутину все, что было необходимо для его личного счастья: много водки, много вышитых рубах и много (даже очень много) женского продовольствия. Но за этой идиллией тобольского мужика скрывалась подлинная трагедия вся России!

Александр Яблоновский

Прелюдия к пятой части

Опять Нижний Новгород, опять нам весело, опять у губернатора Хвостова полный короб удовольствий и неприятностей... Крутились пряничные кони, галдели пестрые балаганы, за Бетанкуровским каналом куролесили вертепы, куда на время торжищ съезжались не только шлюхи империи, но охотно гастролировали и парижские кокотки. Был жаркий сезон транжирства, непотребства, обжорства, солидной прибыли и убытков весьма ощутимых.

На банкете по случаю открытия ярмарки раблезианский желудок Хвостова объемно и натурно воспринимал все блага щедрой русской кухни, которые тут же исправно ополаскивались коньяками, шампанским, рябиновкой и ликерами. Взбодрившись до того состояния, в каком даже титулярная мелюзга мнит себя государственным мужем, Алексей Николаевич поехал в театр – слушать оперу. Какую давали оперу – для истории неважно; существенно, что из мрака губернаторской ложи Хвостову приглянулась одна артистка. Он долго не мог поймать ее в фокус бинокля, хотя и без бинокля было уже видно, что женщина пикантна, очаровательна, воздушна.

– Кто такая? – спросил он полицмейстера.

Тот сунулся в театральную афишку.

– Это... сейчас скажу... Ренэ Радина, сопрано!

– Мне плевать на ее сопрано, а бабец – что надо. В антракте поди и скажи ей, что я зову ее ужинать.

Ренэ Радина отвечала полицмейстеру уклончиво:

– Благодарю за честь, но сегодня первый спектакль в сезоне, он всегда напряженный, и я буду крайне утомлена.

Выслушав отказ, Хвостов разгонял комедию дальше:

– Поди и скажи ей, дура, чтобы не артачилась.

Полицмейстер снова вернулся в ложу.

– Ваше превосходительство, госпожа Радина говорит, что не привыкла ужинать на ночь и не понимает, зачем нужна вам.

– Скажи ей, что напьемся, а потом спать ляжем...

Полицмейстер еще не потерял совести и не пошел в уборную к певице, а Хвостов, отъезжая из театра, наказал ему:

– Ренэ Радину арестовать и доставить ко мне...

Огни рампы погасли, а труппа актеров, дабы спасти честь актрисы, осталась в театре, репетируя оперу на завтрашний день. Полицмейстер согласился с доводами режиссера, что

«репетиция завтрашнего спектакля – прямое продолжение спектакля сегодняшнего». Поняв так, что арестовать Радину он может только после окончания репетиции, полицмейстер из театра не уходил, шлялся в пустынном фойе. И вдруг он попятился... Прямо на него из боковой «променальи» шагал господин во фраке и при орденах.

– Честь имею, – сказал он. – Действительный статский советник и солист его императорского величества...

Это был Николай Николаевич Фигнер, краса и гордость русской оперной сцены, бывший офицер флота. После трагического, небывало обостренного разрыва с певицей Медеей Фигнер он блуждал по городам России как импресарио со своей собственной труппой. К этому хочу добавить, что избалованный славой артист, будучи братом знаменитой революционерки, оставался в душе монархистом и был вхож в царскую семью... Полицмейстер испытал трепетание, когда Фигнер вытянул руку и стал драть его за ухо.

– Так вот, милейший! – сказал певец. – Та особа, на которую обратил внимание твой хам губернатор, – моя жена...

Это была его третья жена – третья большая страсть в жизни великого артиста. Старше Радиной на много лет, Фигнер любил ее с болезненным надрывом, остро и мучительно. Полицмейстер сделал под козырек, когда артист выскочил из театра на темные улицы. По телеграфу он разослал телеграммы о безобразиях Хвостова: директору театров Теляковскому, министру внутренних дел Макарову, министру двора Фредериксу и многим влиятельным персонам. После чего вернулся в театр, и... репетиция длилась до утра!

До утра пировал и Хвостов; губернатор был уже здорово подшофе, когда перед ним положили телеграмму из МВД, в которой Хвостову указывали оставить в покое певицу Ренэ Радину. Рассвет уже сочился над раздольем волжским, золотя окна губернаторского дома. Нижегородский визирь был оскорблен.

– Заколотить в театре все двери досками. А в эм-вэ-дэ телеграфируйте, что в труппе Фигнера – политические преступники!

Театр, словно сарай, забили досками, а труппу Фигнера под конвоем погнали на вокзал. Фигнер собирался через день быть в столице, но Хвостов велел силой впихнуть артиста в одесский поезд. На прощание певец заявил нижегородской полиции:

– За это я вашему Хвосту хвост выдерну!

Через несколько дней Макаров объявил Хвостову строгий выговор с занесением в чиновный формуляр. Фигнер, надев мундир и ордена, побывал в Царском Селе, где рассказал о сатрапских наклонностях губернатора. Николай II принял половинчатое решение, предлагая Хвостову самому сделать выбор – лишиться звания камергера или оставить пост губернатора... Вопрос сложный!

С ним он пришел, покорный, к своей жене.

– Катя, вот скажи, что мне из этого выбрать?

Жена заплакала, произнося с ненавистью:

– Уверена, что и тут не обошлось без какой-либо потаскухи! Посмотри на себя в зеркало: свинья свиньей... О боже, любой сапожник не ведет себя так, как ты... камергер, тьфу!

Хвостов мужественно выстоял под ливнем справедливой брани. Потом рассуждал: что оставить, от чего отказаться?

– Если откажусь от губернаторства, газеты повоюют и забудут. А если снять мундир камергера, тогда скандала не оберешься, ибо лишение камергерства всегда сопряжено с судом.

Хвостов подал в отставку с поста губернатора.

– А на что мы жить будем? – спросила его жена.

– Перестань, Катя! Я человек полный, и меня может хватить удар. Или ты хочешь, чтобы наши дети остались сиротами?

Над семейной сварой в доме Хвостовых мы тактично опустим занавес и обратимся к политике.

* * *

Крестьяне говорили, что депутатов в Думе кормят одним компотом – верх роскоши в простонародном понимании... Это не так! Кормились они сами – кто у Кюба, а кто на углу в забегаловке. Третья Дума отбарабанила пять сессий и разъехалась по домам, а теперь начиналась кампания по выборам «народных избранников» в Четвертую Думу. Царизм мобилизовал все свои силы, чтобы Дума № 4, упаси бог, не сдвинулась влево. Из темной глухомани провинций правительство извлекало явных реакционеров, предпочтение на выборах отдавалось чиновникам, помещикам, духовенству. Удержав за собой ключ камергера, Хвостов сохранил право бывать при дворе. Теперь надо завоевать официальное положение.

– Катя, я решил баллотироваться в депутаты.

– Надо, чтоб тебя еще выбрали, – сказала жена.

– Если не меня, так кого же им еще надобно? Бывший губернатор меняет чиновную службу на общественную деятельность...

– Там же, в Думе, выступать надо... с речами.

– Ну и выступлю. Лишь бы тему нащупать.

– Речь – это тебе не тост в пьяной компании.

– Да один хороший тост лучше глупой речи...

Хвостов был помещиком орловским, а посему баллотироваться мог по Орловской губернии. Для начала он вызвал Борьку Ржевского, входившего в славу после интервью, взятого им у Илиодора; журналист явился в немислимых желтых гетрах, попахивая изо рта какой-то дрянью... Хвостов сказал ему – напрямик:

– Было время, я тебе помог. Теперь ты меня выручай! Оттени все, что знаешь обо мне хорошего. Знаешь ты хорошее?

– Знаю, – отвечал Борька (покладистый).

– Плохо знаешь. Я тебе составлю список всех добрых дел, какие я сделал... Вот посмотри на Америку!

– Зачем?

– А затем, что у них, паразитов, на все есть реклама. На людей и на пипифакс. Отрекламируй меня как зрелого мужа...

Жена, послушав их разговор, сказала:

– Боречка, ты напиши про него, что он бабник и пьяница, годится рекламой для любого борделя с нашей дивной ярмарки.

– Ты ее не слушай, – сказал Хвостов журналисту. – Завтра же махнем в Орел и там начнем крутить все гайки, какие есть.

Он проходил по выборам дворянской курии, которая хорошо знала обширную семью Хвостовых, и надо полагать, что чрево Алексея Николаевича, способное переварить массу рыбных и мучных закусок, внушало даже купцам немалое уважение. Ржевский купил по случаю подержанный «ремингтон», пальцем неумело тыкал в клавиши, слагая пышные дифирамбы новому триумфатору: «Орел ликует! На стогнах древнего русского града слышны призывы избрать достойных. И мы уже избрали. Всем своим патриотическим сердцем Орел устремлен на природного сына – А. Н. Хвостова! Что мы знаем о нем? Что можно добавить к тому, что уже было сказано?..» А так как добавлять было уже нечего, то Хвостов, естественно, проскочил в депутаты четвертой Думы... Сияющий, в чесучовом летнем костюме, он шагал к питерскому поезду. Сыпались цветы, и новые штиблеты депутата равнодушно давили нежные лепестки магнолий. Полиция осаживала толпу:

– Господа, не напирайте... ведь все же грамотные! Я говорю – куда лезешь? Ты посмотри, кто идет... сам народный избранник!

– Уррр-я-а-а...

* * *

Все дальнейшее поведение Хвостова обличает в нем изворотливый ум карьериста, который знает, где сесть, чтобы обедать ему подали первому. Но сначала он допустил промах! Зарегистрировав себя в канцелярии Думы как крайне правый, Хвостов и расселся среди крайне правых. Впрочем, умнику понадобилось немного времени, чтобы он сразу заметил свою нелепую ошибку. Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные кадры из числа крайне правых, которые при слове «царь» сразу же разевались в гимне: «Боже, царя храни...» Хвостов перекочевал в лагерь умеренно правых – прочно занял место в кругу тех людей, которые могли рассчитывать на правительственную карьеру. В партии правых, которой симпатизировал сам царь, Хвостов сознательно чуточку... полевел (цвет его «партийных» штанов из черного стал темно-серым). Между прочим, он тишком расспрашивал в Думе о Распутине – где бывает, стервец, каковы привычки его, мерзавца? Пуришкевич подсказал ему:

– Я давно слежу за Гришкой, он проводит вечера на «Вилле Родэ», но сидит в кабинете, редко выходя в общий зал...

Хвостов повадился таскаться на «Виллу Родэ», несколько раз видел Распутину в зале. Гришка сразу же узнал его, но не обращал на депутата никакого внимания. Только однажды, пьяный, он толкнул столик Хвостова, и прорвало его старую обиду:

– Пьешь? Жрешь? А кады я приехал в Нижний, у меня гроша за душой не было... Сам к тебе на обед набивался, а ты, голопуп, рази накормил меня? Рази жену свою предъявил мне?

Хвостов не стал с ним спорить. Скромнейше сидел, в уголочке, терпеливо слушал, как с эстрады воет старуха цыганка:

Обобью я гроб батистом,
А сама сбегу с артистом...

О политических деятелях иногда судят не по тому, что они говорят и делают, а по тому, что они не сказали и чего не сделали. Хвостов в Думе столь упорно отмалчивался, что за его молчанием грозно чувлось нечто из ряда вон выходящее. Сохраняя тупое реакционное молчание, он стал лидером фракции правых. Но человеку с такой утробой одного лидерства для пропитания маловато. Таким людям необходим портфель министра внутренних дел!..

1. Вербовка агентов

Побирушка так жил, так жил... гаже не придумать! Уже в наше время журнал «Вопросы истории» дал картинное описание этого бесподобного жития: «Его квартира была одновременно и часовней, и салоном, где встречались гомосексуалисты всего города... ели, пили и здесь ночевали по двое на одной кровати. Перебывало более тысячи молодежи, часто приводимой князем прямо с улицы. Андронников вел себя подозрительно, отлучаясь с кем-либо в ванную комнату». От себя дополню: по военным училищам Петербурга юнкерам был зачитан секретный приказ – избегать знакомства с князем М. М. Андронниковым (Побирушкой)! Но, как известно, государь «в высоконазначенном милосердии своем» покровительствовал педерастам. Стоял, так сказать, на страже их семейного очага! А в длинном списке имен, составленном царицей и Вырубовой, где все человечество разделялось на «наших» и «не наших», гомосексуалисты были причислены к таинственной секте «наших»... Иногда я думаю: комики, а не люди! После революции лакей князя, некто Кильтер, дал показания о средствах Побирушки: «Чуть ли не каждодневно брал из банка по тысяче. Вино белое и красное текло рекой. Как-то я купил в английском погребке тысячу бутылок вина, так едва хватило на две недели. Со стола не сходили икра, балык, анчоусы, торты, дорогие колбасы и прочее». Но с чего такая роскошь, читатель? На это можно ответить вторым вопросом: «А на кой же тогда черт существует славная русская кавалерия?» Конница всегда имеет падеж лошадей, а шкуры павших стоят недешево, иначе с чего бы обувь делали? Весной 1912 года Побирушка увязался в очередную командировку Сухомлинова в Туркестан, где они скупали по дешевке благодатные ферганские земли с хлопком и виноградниками, а продавали их налево по бешеным ценам... Теперь понятно, что Побирушка возле Пяти углов не стоял с озябшею, протянутой к прохожим рукой!

Однажды к нему на квартиру вдруг нагрянул директор департамента полиции Степан Белецкий... Нет, нет, читатель! Ты напрасно плохо подумал. Белецкий был вполне нормальный мужчина – без декадентских выкрутасов, отличный семьянин. Ради какого беса его сюда занесло – я не знаю. Но все-таки занесло...

– Выпить хотите? – предложил Побирушка.

– Нельзя. Завтра доклад у министра...

Разговорились. Белецкий сказал:

– А ведь я упорно занимаюсь самообразованием.

– Вот как? – поразился Побирушка.

– Представьте! Именно только попав в департамент полиции, я начал усиленно просвещать себя. И знаете что читаю?

– Эдгара По?

– Пошел он... Я читаю серьезные монографии всемирно известных историков революций – от Карлейля до Альбера Вандала. Не скрою, мне интересно знать, что в революциях бывает с такими людьми, как я... Жена говорит: «Степан, не лезь, ты погибнешь!» А я уже залез. И уже не выбраться. Сижу по уши и вижу, как жернова крутятся... Из истории же видно, что конец будет один – повесят или расстреляют. Что лучше – не знаю. Но это меня настраивает на боевой лад, и я делаю все, чтобы затоптать искры...

– Наверное, устали, – посочувствовал Побирушка.

– Зверски! Едва ноги таскаю.

– Хотите?..

– Чего?

– Ну... этого.

– Не понял.

– Отдохнуть, говорю, хотите? Встряхнуться?

– Да не мешало бы... только – как?

Побирушка дал ему порошок в аптечном фантике, провел в ванную комнату и запер там одного, крикнув ему через дверь:

– Вы понюхайте... весь мир прояснится.

Понюхав, Степан вылез в коридор с белым носом-пипочкой.

– А чем вы меня угостили? – любопытствовал.

– Кокаинчик. Первый сорт.

– Я ж не проститутка. Вы бы хоть предупредили...

– Жизнь тяжелая штука, – философски заметил князь.

– Столько возни, столько крутни, – огорчился Степан. – Мне уже сорок. А чего я видел в этой жизни хорошего?

– А вы думаете – я видел хорошее?

– Одни будни! А я все жду, когда праздник начнется...

– Да, вам тяжело. Вы заходите ко мне почаще.

– Спасибо. А кокаин и правда неплох – проясняет.

Побирушка проводил его до дверей.

– Я знаю одну гимназисточку. Сам-то я этим не интересуюсь, но люди знающие говорят – дым с копотью... даже кусается!

– Что вы, что вы! – испугался Белецкий. – Я человек прочных моральных устоев... У меня жена – сущее золото. Сам-то я сын бакалейного лавочника, а жена – дворянка из фамилии Дуропов, дочка генерала... Вы мне больше такого не предлагайте!

Дверь закрылась, но Побирушка по опыту жизни знал, что она еще не раз откроется перед Белецким. Женщин князь не выносил, и его бедлам навещала только Наталья Илларионовна Червинская.

* * *

Откуда она взялась? О-о, эта дама достойна внимания... Начнем с того, что она была двоюродной сестрой первого мужа Екатерины Викторовны Сухомлиновой. В бракоразводном процессе она сначала поддерживала своего брата Бутовича, но затем, оценив преимущества дружбы с министром, переменила фронт – стала на сторону Сухомлиновых. По документам Червинская представляется мне дамой хитрой, желающей взять от жизни побольше и послаще, что характерно для мещанской натуры. Захудалая барынька из провинции, она была кривлякой и, подобно смолянке, яйца стыдливо именовала «куриными фруктами». Женщина уже в годах, много любившая (но мало любимая), она сохранила неутолимый, волчий аппетит к удовольствиям молодых лет... На широком пиру разгильдяйства военного министерства ей не повезло, ибо Сухомлинов не нашел дамской должности, и Червинскую пристроил в свою контору Альтшуллер. Но этого, конечно, мало для стареющей женщины, жившей как на иголках, в тайном предчувствии, что где-то еще томится по ней сказочный принц, который падет к ее ногам и будет умолять о ночи любви. Одетая на подачки Альтшуллера с безвкусной роскошью, мадам Червинская брала гитару с пышным бантом, и министерская квартира наполнялась пением тоскующей львицы из конотопского хутора по названию Утопы:

Ты едешь пьяная, ты едешь бледная,
по темным улицам – совсем одна,
тебе мерещится дощечка медная
и шторы синие его окна...

В поисках острых ощущений Червинская ринулась на Английский проспект, где в это время проживал Гришка Распутин. Что у них там было (и было ли вообще что-нибудь) – я выяснить не мог¹. Но генералу Сухомлинову женщина рассказывала так:

– Григорий понял, что я единственная женщина в мире, на которую он как мужчина не имеет никакого влияния. Однажды потерпев фиаско, он убрал свои лапы, и мы сели пить чай, как бесполое амебы... Хотите, я вас с ним познакомлю?

Сухомлинов в ужасе замахал руками:

– Что угодно, только не это чудовище...

* * *

Сухомлинов твердо отвергал все попытки Распутина установить с ним близкие отношения. Отдадим ему должное – он поступал как порядочный человек. Этой «ошибки» ему уже не исправить, и расплачиваться за нее станет его жена... Между тем Наталья Илларионовна Червинская, попав в столицу, хотела обойти все рестораны, побывать на всех гуляньях, прокатиться на всех трамваях, даже если один из маршрутов и завозил на городскую свалку! Странное дело: Петербург битком набит мужчинами, и ни один из них не бросился в ноги Червинской, умоляя о знойном счастье. Червинская (чтобы не быть совсем одной) таскала за собой племянника Колю Гошкевича, который тоже был устроен Сухомлиновым на теплое местечко. Худосочный юноша с жиденьким галстуком, уже не голодный, но еще и не сытый, он, конечно, никак не мог украсить общество такой дамы, как его неутоленная тетушка.

Но... ладно! Пошли они в ночной ресторан «Аквариум» на Каменноостровском, ныне Кировском, проспекте, где размещается теперь киностудия «Ленфильм». Сели за столик. Коля Гошкевич оглядел высокие пальмы, увидел, какие роскошные королевы есть на свете, сразу же и бесповоротно осознал все свое ничтожество и надрался так, что через пять минут можно считать – вроде бы он есть, а на самом же деле его нету. Оказавшись в таком невыгодном положении, Наталья Илларионовна величественным взором конотопской Клеопатры окинула сверкающий зал и тут...

Читатель, прошу тебя сохранять хладнокровие!

Тут к ней подошел тот самый «принц», который ей снился в жарких снах. Интересный молодой человек, одетый, как на картинке журнала, пригласил ее к танцу. Это было бразильское танго, «танец, по тем временам считавшийся неприличным», и Червинская доказала его неприличие тем, что безбожно прилипла к своему кавалеру: пусть он знает – ему попалась не холодная рыба! Потом они оставили Колю Гошкевича погибать и дальше, а сами уселись в глубокую тень, где к ним на цыпочках, словно карманный вор, приблизился скрипач Долеско, и его скрипка пробуравила в сердце Червинской огромную кровоточащую рану. «Принц» вел себя идеально (еще бы!), а говорил именно те слова, которых Червинская так давно желала:

– Вы божество мое... Одну ночь любви... Умоляю!

При этом глаза его оставались ледяными, а тогда, в этот роковой вечер, они казались женщине демоническими. Пили какое-то вино, музыка ликовала, голова кружилась. В синем дыму папиросы, с лицом узким, как ликерная рюмка, «принц» шептал ей на ухо:

Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная. Прости меня!

Червинская поняла, что стоит на краю пропасти.

¹ В известной книге «Rasputin und die Frauen» («Распутин и женщины». Берлин, 1927) приведена любопытная таблица взаимоотношений Распутина со столичным обществом; там в числе его прочных «поклонниц» обозначена и Н. И. Червинская.

– Я твоя... Увези меня на край ночи, и там я окачу тебя с головы до пяток горячею волной неземной страсти!

«Принц» вывел ее из ресторана на улицу, где, как и подобает бульварным романам, его ждал «напиер» на шести цилиндрах в тридцать пять лошадиных сил с корпусом, особо модным в ту пору (типа «кароссери»). На темных улицах фары ослепляли редких прохожих. Червинская всю дорогу подражала главной героине нашумевшей недавно кинодрамы «Не подходите к ней с вопросами»: склоняя голову на грудь кавалера, она тихо подвывала – сквозь зубы:

А на диване – подушки алые,
Духи д'Орсей, коньяк «Мартель»,
Твои глаза – всегда усталые,
А губы пьяные – как хмель...

Приехали. Долго поднимались по лестнице. «Принц» открыл двери в пустую прохладную квартиру с очень богатым убранством.

– Мы выпьем за ночь любви, – деловито сказал он.

Червинская выпила, и... все! Больше она ничего не помнит. Утром проснулась и увидела, что возле окна, тихо беседуя, стоят три незнакомых мордастых господина в одинаковых пиджаках, в гуттаперчевых воротничках на багровых от полнокровия шеях. Заметив, что Червинская открыла глаза, все трое как по команде взялись за спинки венских стульев, поднесли их к самому дивану и сели на них разом, окружив лежавшую женщину.

– Доброе утро, – сказали они хором.

Червинская до глаз натянула на себя одеяло.

– Господи, где я?.. Кто вы такие?..

– Спокойно. Мы – контрразведка.

Чтобы раз и навсегда испугать эту организацию, дама дико завизжала, но удар пощечины ослепил ее, как вспышка молнии. Тогда она села на постели и стала плакать.

– Без истерик, – предупредили ее. – Вы должны отвечать на любой наш вопрос. Быстро. Не думая. Точно. Кратко.

В основном ее расспрашивали о конторе Альтшуллера.

Она рассказала все что знала, что видела.

– Можете одеваться, – сказали ей.

– Выйдите, – попросила она.

– Мадам, это само собой разумеется...

Червинская потом говорила жене Сухомлинова:

– Чтоб я треснула, если бы могла снова найти адрес этого дома, где была наша пылкая ночь любви... Ах, какой мужчина! Боже, он, кажется, из британского посольства. Сэр! Нет, лорд! Знаете, что он мне говорил? С ума можно сойти... Он так пылал. Я, конечно, отвергла все его попытки, хотя признаюсь, было нелегко устоять перед таким мужчиной. Он обещал мне позвонить.

И он действительно позвонил:

– Сегодня вечером в «Фантазии» на Разъезжей.

– Но я сегодня занята.

– Это нас не волнует. Будьте скромно одеты. Фасон вашего платья не имеет для встречи никакого значения.

На этот раз «принц» ограничил кутеж бутылкою вишневой воды и заказал для своей дамы мороженое с вафлями.

– Штабс-капитан Никитин... Если это вас интригует! Мы будем платить по сто рублей в месяц. Нас интересует контора Альтшуллера, где вы стучите на машинке, и... полковник Мясоедов.

– Но я Мясоедова видела только один раз.

– Повидайте второй, третий... Мы не спешим!

* * *

Мясоедов стоял на пороге кабинета Сухомлинова.

– Милости прошу. Что вас привело ко мне?

– Вы разве не узнали меня?

– Простите, – отвечал старик, – не упомянул.

Мясоедов ощутил неловкость своего появления:

– А я думал, что моя жена Клара Самуиловна...

– Ах, это ваша жена? – оживился Сухомлинов. – Ну, как же, как же... Теперь вспомнил!

Так это с вашей супругой моя Катерина Викторовна проводила то дивное лето в Карлсбаде?

– Именно так.

– Прошу. Садитесь. Чем могу быть полезен?..

Итак, пора выводить на сцену Мясоедова, которому суждено быть повешенным. В судьбе этого полковника, как в слепой кишке, скопилась масса дрянных нечистот корпуса жандармов, и этот болезненный аппендикс вырежут под вопли всей русской армии.

2. Слепая кишка

Для начала приведу факт, ускользнувший от внимания историков... Волею тогда кишмя кишела шпионами, а правление «Северо-Западного пароходства» давно подозревалось в шпионаже в пользу Германии. Служащий пароходства Моисей Капыльник был взят под стражу, дело его вел советник Квашнин-Самарин. Однажды в ресторане к нему подсел в штатском костюме Мясоедов, сказавший, что, как директор пароходства, он глубоко потрясен арестом своего сотрудника. Квашнин-Самарин понял, что корни этого «потрясения» уходят куда-то очень глубоко, иначе Мясоедов не стал бы тревожиться из-за мелкой конторской сошки. Юрист ответил, что подробности дела не помнит, а о политической стороне дела разумно умолчал. По поведению Мясоедова было видно, что он с облегчением распрямился. «Я вам чрезвычайно благодарен, – сказал он, – отныне я считаю Капыльника уволенным... Мне он уже не нужен!» Вскоре в виленскую тюрьму передали посылку с продуктами на имя Капыльника, который, покушав колбаски, тихонько умер. Квашнин-Самарин доложил «наверх» свои подозрения о Мясоедове, но это дело почему-то замаяли... Писать о Мясоедове так же трудно, как о Богрове, ибо у Мясоедова, как и у Богрова, полно обвинителей, но еще не вывелись красноречивые адвокаты, мастера казуистики.

Романист имеет право на свою точку зрения...

Удар гонга! – пограничная станция Вержболово.

* * *

За этой станцией начинается Германская империя; здесь поезда делают остановку, работают погранохрана и таможня. Мясоедов был начальником Вержболовского жандармского отделения: пост очень важный! А в пятнадцати верстах от Вержболова находилось охотничье имение кайзера «Роминтен», где Вильгельм II принимал у себя Мясоедова; однажды во время обеда, на котором присутствовали и берлинские министры, кайзер поднял бокал за здоровье «своего друга» жандарма Мясоедова! Русская контрразведка знала об этом, но... Германский император вправе допустить такую любезность. Генштаб обеспокоило другое обстоятельство: образ жизни полковника. Время от времени, заскучав на перроне Вержболова, он совершал набеги на Вильно, где тогда был единственный кафешантан Шумана, и здесь «шампанское лилось рекой, золото сыпалось в карманы заморских див, подвизавшихся на подмостках шантана...». Мясоедов имел затяжную связь с некоей Столбиной, и лакеи кафешантана однажды слышали, как она, сильно пьяная, кричала:

– Ах, ты решил жениться? Хорош женишок... Я тебя как облупленного знаю! Я про тебя такое знаю, что с тебя не только погоны сорвут, но еще и тачку покатаешь на Сахалине...

Мясоедов нашел себе жену по другую сторону границы – в Германии; так в его жизни появилась Клара Самуиловна Гольдштейн, отец которой, кожевенный фабрикант, выехал в Россию, отвалив жениху чистоганом сто пятнадцать тысяч рублей. Скоро контрразведка докопалась, что Мясоедов берет взятки с таможи, тайком – на служебном автомобиле – он вывозит в Германию контрабандные товары, очень крупно спекулирует. Налаженные связи еврейской торговой агентуры обеспечивали Мясоедову полную безнаказанность, и поймать его, как ни старались, было невозможно, ибо полковник использовал «пантофельную» почту германских евреев. В 1907 году Столыпин приказал перевести Мясоедова во внутренние губернии страны «не ближе меридиана Самары» (чтобы оторвать полковника от немецкой клиентуры). Мясоедову было заявлено: «Вы – русский офицер, и это звание несовместимо с тем, чтобы вы заодно служили и экспедитором кайзеровских фирм...» Мясоедов от меридиана прусской границы оторваться не пожелал и подал в отставку, а в Вильно возникло акционерное обще-

ство «Русское Северо-Западное пароходство», председателем в котором стал Мясоедов – для вывески! На самом же деле пароходством управляли родственники Кларочки – Давид и Борис Фрейберги; конторю ведал русский барон Отто Гротгус, один из видных агентов германского генштаба. Фирма занималась исключительно вывозом евреев-эмигрантов из России и Польши – для заселения «обетованной земли» в арабской Палестине! Контрразведка установила, что под русской вывеской отлично замаскировался филиал загадочной германской фирмы, связанной с генштабом Германии! Расследование отчетности пароходства МВД поручило Отто Фрейнату, который дал о Мясоедове самый блистательный отзыв (а позже Фрейната... повесили как крупного немецкого шпиона). Так и текла эта жизнь, время от времени прерываемая поездками в Германию или набегами на виленский шантан Шумана, где подле Мясоедова появлялась Столбина.

– Вот ты у меня где! – кричала пассия, показывая кулачок. – Надавлю раз, и... я ведь все про тебя знаю!

Встреча в Карлсбаде жены Сухомлинова с Кларой Самуиловной решила все остальное. Началось с перчаток германского производства, а кончилось тем, что мадам полковница явилась на Мойку в гости к госпоже министерше, имея такую дивную муфту...

– Боже, какое чудо! – ахнула Сухомлинова.

– Скажу по секрету, милочка: муфта стоит полторы тысячи рублей, а продается... всего за сотню.

После покупки муфты Мясоедов и предстал перед Сухомлиновым, просясь вновь определиться на воинскую службу.

– Хорошо. У вас, говорят, какие-то были темные пятна... Ну да ничего! Я о вас поговорю с самим государем.

Через двадцать дней после убийства Столыпина (этого главного врага Мясоедова!) император подписал указ о принятии Мясоедова на службу. Сухомлинова сразу же навестили его собственные адъютанты.

– Ваше высокопревосходительство, если этот шахермахерщик станет вашим адъютантом, мы все подаем в отставку...

Тогда Сухомлинов, специально для Мясоедова, создал при министерстве особое бюро по борьбе с революционной пропагандой в армии и на флоте, куда и посадил Мясоедова – владычить! Полковник не пролез в адъютанты военного министра, а числился лишь «прикомандированным к военному министру». Заодно уж он собирал для Сухомлинова министерские сплетни, нашептывая на ухо старику: «А ваш помощник Поливанов... знаете, что он сказал?..» Был лишь один неприятный момент. Надо было пройти через горнило кабинета министра внутренних дел.

– Вот как? – удивился Макаров. – Странно мне видеть вас снова полковником... Как вам удалось определиться на службу?

– По личному повелению его величества.

– Значит, вы перепрыгнули через мою голову? Но теперь-то, надеюсь, вы – с погонами! – оставите прежние свои гешефты?..

Нет, не оставил. Макаров докладывал царю, что «Мясоедов связан с еврейским обществом, которое, нарушая русские законы, разоряет Русское государство». Один только человек в семье Сухомлиновых был настроен против Мясоедова и его Клары – это Наталья Червинская, которая выражала точку зрения контрразведки.

* * *

Угадывая желания царя, Сухомлинов делал вид, будто никакой Думы не существует, а поэтому докладчиком в Думе по военным делам был его помощник Поливанов... Гучков навещил Поливанова.

- Можете дать что-либо о Мясоедове?
- Кроме гадостей, о нем ничего более не знаю.
- Схарчим и гадость... Давайте!

Поливанов поехал на стрельбище Семеновского полка, где опробовали новое оружие. Автомобиль помощника министра нечаянно обогнал автомобиль самого министра. Поливанов потом сказал:

- Извините, я случайно перерезал вам дорогу.
- Сухомлинов с небывалым раздражением отвечал:

– Хорошо, что перерезали только дорогу, а то ведь говорят, что вы и меня зарезать готовы, лишь бы сесть на мое место...

После стрельб Поливанов сел в «мотор» министра.

- Я требую сатисфакции по поводу оскорбления меня.

Сухомлинов извинился! А затем сказал, что получает теперь анонимки, отпечатанные на машинке, из коих явствует, что Поливанов не раз жаловался, будто он, Сухомлинов, свалил на него всю работу министерства, а сам катается в командировки, дабы рвать «жирные» прогоны – жене своей на тряпки.

- Говорили вы так... о тряпках?

Поливанов резко прервал разговор с Шантеклером:

– После недоверия, выраженного вами ко мне, я вынужден хлопотать о почетном уходе из военного министерства...

Сухомлинов, побывав в Ливадии, сообщил ему:

– Государь изволил меня спрашивать, почему Поливанов, назначенный в Совет, по-прежнему мне помощничает?

Все ясно – отставка. А в спину уходящему Поливанову министр еще крикнул, что не надо было ему соваться в чужие тряпки:

- Будете знать, как перерезать дорогу старшим!

Вскоре Гучков (со слов Поливанова) выступил в Думе против Сухомлинова, обвиняя его в устройстве при Военном министерстве «охранки» во главе с жандармом Мясоедовым. После этого, указывая Гучков с трибуны, «одна из соседних держав стала значительно осведомленнее о наших военных делах, чем раньше». Петербуржцы рвали из рук газеты – скандал, опять скандал, да еще какой! В кампанию против Сухомлинова и Мясоедова включился беспринципный любитель коньяков Борька Суворин, который развернул в своей «Вечерке» картину предательства в военных верхах... В паддоке столичного ипподрома подслеповатый Мясоедов, часто протирая пенсне, отыскал Суворина среди любителей скакового дерби.

– Это вы, сударь, писали, что я шпион? – спросил он издателя. – В таком случае как дворянин предлагаю стреляться.

– Да иди ты к черту! – сказал ему Борька. – Или у меня дел больше нету, как только с тобой дуэлировать?

Мясоедов набил ему морду. После чего он послал секундантов на квартиру к Гучкову, а тот до дуэлей был сам не свой.

- Стреляться? Пожалуйста. Хоть сейчас.

Мясоедов целился тщательно и... промахнулся.

Гучков (отличный стрелок) выстрелил... в воздух.

Наталья Червинская говорила Сухомлинову за ужином:

– Ну, кто был прав? Я предупреждала. Теперь сами видите, что получился какой-то кишмиш на постном масле...

Сухомлинову позвонил по телефону Макаров.

– Владимир Александрович, – сказал министр внутренних дел министру военному, – должен вас предупредить, что Мясоедов – лошадка темная. Департамент давно имеет на него досье.

– Вы бы знали, как я устал от ваших фокусов!

– Хорошо, – ответил Макаров, – понимаю, что разговор явно не для телефонов, я напишу вам подробнейший доклад...

Пока Макаров писал донесение, Мясоедов по-прежнему околачивался при министре. Сухомлинов однажды вручил ему для передачи в Генштаб пакет со сверхсекретным протоколом военного соглашения с Францией. (Позже Сухомлинов оправдывался тем, что пакет был «хорошо заклеен», – как будто шпионы не умеют открывать заклеенных конвертов! Мясоедов был честнее министра и сознался, что конверт был «почти не заклеен».) Макаров закончил писать донесение, на которое Сухомлинов ответил ему опять-таки по телефону, – ответил так, что можно упасть в обморок:

– Даже если ваши подозрения справедливы и Мясоедов действительно шпион, то он у меня ничего не узнает...

Дураков не учат – дураков бьют! Но в МВД еще не знали, что секретное письмо Макарова, в котором он вскрыл подпольные связи Мясоедова с германской агентурой, – это письмо Сухомлинов дал прочесть самому Мясоедову. «Ну какая наглость!» – возмутился тот. А между тем «наглость» русской контрразведки была построена на железной логике. Вот как строилась схема германского шпионажа: Мясоедов и его пароходство – Давид Фрейберг – Фрейберг связан с германским евреем Каценеленбогеном – этот Каценеленбоген связан с евреем Ланцером – а сам Ланцер являлся старым германским разведчиком, давно работавшим против России, и эти сведения были трижды проверены!

– Вы будете меня защищать? – спросил Мясоедов.

– Извините, голубчик... трудно, – уклонился Сухомлинов. – На меня уже и так много разных собак навешали.

– Тогда подаю в отставку.

И уехал в Вильно, где гешефты продолжались...

* * *

Макаров, сухой полицейский педант, принял у себя группу контрразведчиков российского Генштаба.

– Господа, давайте разберемся... Его императорское величество указал нам не тревожить дурака Сухомлинова, а значит, мы не можем трогать и контору Альтшуллера на улице Гоголя...

– Но можно, – намекнули ему, – произвести в конторе такой «чистый» обыск, что даже пыль останется на своем месте.

– Война с Германией, – продолжал Макаров, – начнется через год. Граф Спаноки, австрийский военный атташе, попался на том, что за денешки купил наши секретные карты у барона Унгерн-Штернберга, служащего в фирме, возглавляемой Мясоедовым...

Контрразведчики напомнили ему, что этот Унгерн-Штернберг – ближайший родственник князя Андронникова-Побирушки. Макаров спросил: кто непосредственно держит связь с Альтшуллером?

– Корреспондентка немецких газет Одиллия Аурих.

– Какие связи с ней установлены?

– Видели ее с Мясоедовым... гуляли по Стрелке.

– Опять Мясоедов! – воскликнул Макаров. – Просто язва какая-то, куда ни плюнешь – попадешь в Мясоедова... Но вот вопрос: какова же та интимная тайна из личной или служебной жизни Сухомлинова, зная которую Альтшуллер держит министра в руках?

– Догадываемся, – отвечали контрразведчики. – Очевидно, это связано с отравлением второй жены Сухомлинова. Киевляне твердо убеждены, что, дав жене яд, он зажал ей рот, пока она яд не проглотила. Альтшуллер может его на этом шантажировать!

– Всем на орехи будет, – закруглил Макаров. – Диву даюсь, что вокруг российского Марса скопилось столько нечистот и выросло столько аппендиксов, которые предстоит удалять сразу же, как только прозвучит первый выстрел битвы с Германией.

– Вы забыли еще о Манасевиче-Мануйлове!

– Вот прорва! Спасибо, что напомнили...

Контрразведка выяснила, что Мясоедов заодно с провокатором Богровым добывал за границей фиктивные документы для развода Екатерины Викторовны с Бутовичем и для этого выезжал в Германию (не отсюда ли, я думаю, до наших дней тянется версия, что убийство Столыпина было задумано и оформлено в германском генштабе?). Было известно, что Альтшуллер имеет под Веной богатую виллу, на которой гостили оба – Мясоедов и Сухомлинов. Наконец, поссорившись с министром, Мясоедов предложил несчастному Бутовичу купить за десять тысяч рублей секретные документы, компрометирующие военного министра (Бутович от сделки отказался)...

Гневный душитель революции, Макаров был въедливым и точным механиком потаенного сыска, и казалось, что у царя никогда не возникнет желания от него избавиться!

3. Медленное кровотечение

Казалось бы, что тут такого – царь приехал в Москву?

А между тем придворная камарилья говорила: «Царь простил москвичей». Со времени московского восстания 1905 года Николай II Первопрестольную вроде проклял; только в 1912 году, в юбилей Бородинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих предков. Сто лет назад близ старой Смоленской дороги гроыхала битва, отзвуки которой по сю пору слышны в каждом российском сердце. Бородинские торжества имели немало помпезности, дешевой сусальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали депутаты-крестьяне, но Родзянко сказал им:

- Как поедете? Билетов-то нам не прислали.
- Чего они там боятся? – спросили крестьяне.
- А черт их знает! Даже я билета не получил...

Родзянко еще раз просмотрел церемониал Бородинских торжеств и увидел, что его, председателя Думы, в церемонии тоже не учли. Сердитый, назло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где его сразу же осадил церемониймейстер барон Корф:

- Депутаты Думы не имеют права быть при дворе.
- Так что же здесь празднуют? – зарычал Родзянко. – Если Бородинские торжества, так это праздник не придворный, а всенародный. Кстати, церемониймейстеры не спасали тогда Россию...

Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на поклон». Царь был уверен, что «толстяка» не изберут в председатели четвертой Думы, а значит, не стоит ему и кланяться... На Бородинском поле среди местных крестьян нашлись ветхие старцы и старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали участие и французы – внуки наполеоновских гвардейцев; в суровом молчании, под мирные возгласы рокочущих барабанов французы возложили венки как на французские, так и на русские могилы.

Время стерло следы прежней вражды!

В это же время германский рейхстаг, под бурные овации кайзеру, вотировал новый закон об увеличении рейхсвера.

- Мы тоже... допингируем, – говорил Сухомлинов.

* * *

Николай II был достаточно воспитан, чтобы не выражать свою кровожадность открыто. Зато в охоте проявил себя настоящим убийцей! Кажется, он вступил в негласное соревнование с другим фанатиком уничтожения природы – эрц-герцогом Фердинандом, наследником австрийским... Бывали дни (только дни!), когда царь успевал набить тысячу четыреста штук дичи; в особом примечании Николай II записывал в дневнике – с садизмом: «Убил еще и кошку». Сколько уничтожено им редких животных – не поддается учету. Для него охота не была охотой, если число жертв не округлялось двумя нулями. А после кровопролития очень любил взгромоздиться с ружьем на еще теплые трупы животных, и тогда его фотографировали... После Бородинских торжеств царь со всем семейством отъехал в Польшу – в заповедное имение Спалу. Его сопровождал богатый арсенал орудий убийства и целый штат придворных палачей, готовых помочь царю в уничтожении природы. Был чудесный теплый октябрь, и Крулев ляс затрещал от выстрелов, быстро росла гора окровавленных трупов. В промежутке отдыха царская семья забавлялась, наблюдая за матросом Деревенко, который, обвешавшись

шевронами «за безупречную службу», носился бегом с наследником престола на сытом своем загривке...

Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале катались по озеру, и, когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел – решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился о борт лодки. Две недели спустя в паху у ребенка образовалась кровяная опухоль – гематома; в Спалу спешно вызвали лучших врачей – Федорова, Раухфуса, Боткина. В таких случаях необходимо вмешательство хирургии, но гемофилия не допускала применения скальпеля: резать его – значило тут же убить! 21 октября температура у Алексея подскочила до 39,8°. Федоров сказал царю, чтобы он с женою были готовы к самому худшему исходу.

Сразу возник вопрос о судьбах престола. «Условный регент» великий князь Михаил под именем графа Брасова околачивался за границей. породить второго сына царица, в силу женских немощей, была уже не способна. А великие князья Владимировичи, Борис и Кирилл, уже таскались к Щегловитову, спрашивая, какие у них есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из лютеранства перейдет в православие. Чтобы добыть права на престол забулдыгам-сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна (из дома Мекленбург-Шверинского) разделась и полезла в купель, дабы воспринять веру византийскую. Говорят, что дядя Николаша сказал ей: «А чего ты раньше думала, дура старая?..» Об этом Щегловитов моментально сообщил в Спалу. В спальской церкви днем и ночью текли клубы ладана; царь телеграфировал Саблеру, чтобы перед Иверской иконой отслужили торжественную литургию; в столичном Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоровлении наследника...

– Можете ли спасти мне сына? – спросил царь врачей.

– Мы не боги, – ответил за всех старый Раухфус.

23 октября в Спалу приехал министр иностранных дел Сазонов; было очень раннее утро, в охотничьем шале все еще спали, министр пристроился возле камина, наслаждаясь теплом. Он привез царю доклад о положении на Балканах, о том, что схватка с германским милитаризмом близится... По лестнице, убранной рогами оленей, спустилась умиротворенная сияющая императрица.

– Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше?

– Нет, – отвечала Алиса, – моему сыну хуже. Но я получила телеграмму от Распутина, который написал мне, что господь увидел мои слезы и теперь наследник останется жить.

Что тут можно сказать? Сазонов промолчал.

Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рассосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой! Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занимали². Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику доктора Бадмаева... Шарлатан снабжал Вырубову странным китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсыпала эту отраву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу активно вторгался и сам Распутин, действуя «заговорами» или «божественной силой». Вырубова прекращала давать наследнику бадмаевские травки – наследник выздоравливал. В любом случае все трое имели выгоду: Распутин усиливал свою власть в царской семье, Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал!

Как бы то ни было, но Дума при известии о выздоровлении наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни...».

² Здесь же позволю себе выразить благодарность полковнику медицинской службы Виталию Сергеевичу Чернобурову, который, будучи учеником С. П. Федорова (1869–1936), многое поведал мне из его рассказов о лечении наследника и влиянии Распутина на дела придворной медицины.

* * *

А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить свои отношения с Царским Селом – он сказал с трибуны:

– Государственная Дума четвертого созыва продолжает свои занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему венценосному вождю... Поручите мне передать государю императору чувство огромной верноподданнической радости по случаю чудесного выздоровления наследника-цесаревича!

С линзой в руках я обшарил всю громадную фотографию, на которой – в развороте амфитеатра Таврического дворца – открывается панорама четвертой Думы; я нашел того, кого искал. Вот он, заложив руки назад, с напряженным вниманием выслушивает речь председателя, а на лице застыла почтительная внимательность... Это Хвостов! «Избранники народа» домогались у Фредерикса «о счастья представить государю императору», на что Фредерикс, переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов имперского флага, а поверх банта нацепил... значок! Николай II, обходя шеренгу «умеренных», спросил Хвостова:

– Что это у вас за значок?

– Значок «Союза русского народа».

Согласно чиновному положению ношение значков при форменной одежде возбранялось, и царя покорило это афиширование патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указал пальцем:

– Снимите... вот это!

Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет и помнить о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь из Царского Села, Хвостов жадно курил, мрачно размышляя: «Черт! Неужели не стану министром внутренних дел?..»

* * *

Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной доклад императору... Был декабрь 1912 года.

– Благодарю за службу, – сказал царь, выслушав его, – а теперь, Александр Александрович, вы можете подавать в отставку.

– Простите, государь, я не ослышался?

Царь повторил. Макаров зарыдал.

– Голубчик мой, – говорил царь, утешая опричника, – да что вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею... Люблю вас!

– За что же... за что меня гоните?

– Ах, боже мой, да успокойтесь...

– Чем я не угодил вашему величеству?

– Всем! Всем угодили. Не надо плакать...

Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макарова. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был «на своем месте». Коковцев – за него! Царь тоже стоял за Макарова!

Тогда... почему же его бессовестно вышибали?

Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром внутренних дел, не выказав основательного решпекта Гришке Распутину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна и имитатора Николая Алексеевича Маклакова, вошедшего в историю МВД под

кличкою Влюбленная Пантера. В это же время Степан Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу Хвостова: «Как помотришь вокруг, так нет ничего слаще эм-вэ-дэ с его рептильными фондами... Неужели я недостоин?»

4. В канун торжества

Петербург пробуждался, весь в приятном снегу, тонкие дымы, будто сиреневые ветки, тянулись к ледяному солнцу, заглянувшему в спальню директора департамента полиции. Белецкий еще спал, и жена дожидалась, когда он откроет свои бесстыжие глаза...

– Степан, я давно хочу с тобою поговорить. Оставь все это. Ты уже достиг поднебесья. Просись обратно в губернию.

Поняв причину ее вечных страхов, он сказал:

– Губернаторы тоже причислены в эм-вэ-дэ.

– Пусть! Но перестань копать в этом навозе.

– С чего бы мы жили, если бы я не копался?

– Лучше сидеть на одной каше, но спать спокойно. Я же вижу, как полицейшина засасывает тебя, словно поганое болото...

Белецкий натянул штаны, пощелкал подтяжками.

– С чего ты завела это нытье с утра пораньше?

– Я завела... Да ведь мне жалко тебя, дурака! Погибнешь сам, и я погибну вместе с тобою... Пожалей хоть наших детей.

– Можно подумать, – фыркнул Белецкий, – что все служащие полиции обязаны кончить на эшафоте. Оставь заупокойню!

Жена заплакала.

– Об одном прошу, поклянись мне, что никогда не полезешь в дружбу с этим... Ну, ты знаешь, кого я имею в виду.

– Распутин? Так он мне не нужен...

Жена в одной нижней рубашке соскочила с кровати.

– Не так! – закричала она. – Встань к иконе! Пред богом, на коленях клянись мне, Степан, что Распутин тебе не нужен.

Он любил жену и встал на колени. Директор департамента полиции, широко крестясь, принес клятву перед богом и перед любимой женой, что никогда не станет искать выгод по службе через Гришку Распутина... Жена подняла с пола уроненную шпильку, воткнула в крепкий жгут волос на затылке.

– Смотри, Степан! Ты поклялся. Бог накажет тебя...

В прихожей он напялил пальтишко с вытертым барашковым воротником, надел немудреную шапчонку, сунул ноги в расхлябанные фетровые боты. У подъезда его поджидал казенный «мотор».

– В департамент, – сказал, захлопывая дверцу...

«Ольга, как и все бабы, дура, – размышлял директор в дороге. – Где ей понять, что в таком деле, какое я задумал, без Гришки не обойтись, но я ей ничего не скажу... Господи, жить-то ведь надо! Или мало я киселя хлебал? О Боже, великий и насущный, пойми раба своего Степана...» Шофер, распугивая зевак гудением рожка, гнал машину по заснеженным улицам столицы – прямо в чистилище сатаны! На Фонтанку – в департамент.

* * *

Ротмистр Франц Галле в шесть утра уже был в полицейском участке. «Много насобирали?» – спросил, зевая. Дежурный пристав доложил о задержанных с вечера: нищие, воры, налетчики, взломщики, наркоманы, барахольщики, хинесницы, проститутки... По опыту жизни Галле знал, что рабочий день следует начинать с легкой разминки на нищенствующих (это вроде физзарядки).

– Давайте в кабинет первого по списку, – указал он; вбросили к нему нищего, сгорбленного, в драной шинельке.

– Ах ты, сучий сын... Где побирался, мать твою так размать!

– На Знаменской... какое сейчас побирание!

– Почему не желаешь честно трудиться?

– Дык я б пошел. Да кому я нужен?

– Семья есть? – спросил Галле, еще раз зевая.

– А как же... чай, без бабы не протянешь.

– Дети?

– У-у-у... Мал мала меньше.

– Детей наделать ума хватило, а работать – так нет тебя? – Сорвав трубку телефона, Галле стал названивать в Общество трудолюбия на Обводном канале, чтобы прислали стражников. – Да, тут одного охламона надо пристроить...

Шмыгнув красным носом, нищий швырнул на стол ротмистру открытый спичечный коробок, из которого вдруг побежали в разные стороны клопы, клопищи и клопики – еще детеныши.

– Я тебя в «Крестах» сгною! – орал Франц Галле, давя клопов громадным пресс-папье, и с кончиною каждого клопа кабинет его наполнялся особым, неповторимым ароматом...

– Честь имею! – сказал «нищий», распахивая на себе шинельку, под которой скрывался мундир. – Я министр внутренних дел Маклаков, а клопов сих набрался в твоём клоповнике... Ну что? Не дать ли вам, ротмистр, несколько капель валерьянки?

Началась потеха: всех арестованных за ночь погнали из камер на «разбор» к самому министру... Одна бесстыжая краля, понимая, что в жизни еще не все потеряно, мигнула Маклакову.

– Слышь! – сказала. – Ты со мной покороче. Я ведь тебе не Зизька, которая по пятерке берет, а у самой такой триппер, что ахнуть можно... Я ведь честная, здоровая женщина!

– Ах, здоровая? Тогда проваливай...

Взломщики сочли Маклакова за своего парня. Он угостил их папиросами, душевно побеседовал о трудностях воровского мастерства. Несколько дней полиция Петербурга находилась в состоянии отупляющего шока. Боялись взять вора-домушника. Страшились поднять с панели пьяного... «Поднимешь, в зубы наkostenяешь, а потом окажется, что это сам министр». Маклаков, подлинный мистификатор, являлся в участки то под видом адъютанта градоначальника, то бабой-просительницей, то тренькал шпорами гусарского поручика. Гримировался – не узнаешь! Голос менял – артистически! Петербург хохотал над полицией, а сам автор этого фарса веселился больше всех. Озорная клоунада закончилась тем, что царь сказал Маклакову:

– Николай Алексеич, пошутили, и хватит... Я прошу вас (лично я прошу!), окажите влияние на газеты, чтобы впредь они больше не трепали имени Григория Ефимовича...

Обывателю не возбранялось подразумевать, что Распутин где-то существует, но он, как вышний промысел, всеобщему обсуждению не подлежит. Натянув на прессу намордник, Маклаков вызвал к себе Манасевича-Мануйлова, которого отлично и давно уже знал по общению с ним в подполье столичных гомосексуалистов.

– Ванечка, ты больше о Распутине не трепись, золотко.

– Коленька, ты за меня не волнуйся...

Влюбленная Пантера совершала немислимые прыжки и, покорная, ложилась возле ног императрицы, облизывая ей туфли. Царь отверг резолюцию Коковцева, который о Маклакове писал: «Недостаточно образован, малоопытен и не сумеет сыскать доверие в законодательных учреждениях и авторитет своего ведомства». Но что значит в этом мире резолюция? Бумажка...

* * *

Ванечка зашел на Невском, дом № 24/9, в парикмахерскую «Молле», владелица которой Клара Жюли сама делала ему маникюр. Между прочим, болтая с неглупой француженкой, Манасевич-Мануйлов краем уха внимательно слушал разговоры столичных дам:

– Теперь чулки прошивают золотыми пальтками, так что ноги кажутся пронизанными лучами утреннего солнца.

– Слава богу, наконец-то и до ног добрались! А то ведь раньше только и слышишь: глаза да глаза... Как будто, кроме глаз, у женщины больше ничего и нету.

– А Париж уже помешался на реверах из черного соболя.

– Ужас! Следует быть очень осторожной.

– Неужели опять обман?

– Да! От белой кошки берут шкуру, а от черной кошки берут хвост. Продается под видом egalite «под нутрию»!

– С ума можно сойти, как подумаешь... За какого-то зайца под белку я недавно отдала двадцать рублей.

– Вам еще повезло! А я за собаку под кошку – пятнадцать, и была еще счастлива, что достала...

– Главное сейчас в жизни – это муфта.

– Да. В нашем жестоком веке без муфты засмеют!

– Мне один знакомый молодой человек (так, знаете, иногда встречаемся... как друзья!) рассказывал, что скоро в Сибири перестреляют всего соболя, и тогда мы будем ходить голыми.

– Уже ходят! Недавно княгиня Орлова, урожденная Белосельская-Белозерская (та самая, которую Валентин Серов писал на диване, где она на себя пальчиком показывает), вернулась из Парижа... Вы не поверите – ну чуть-чуть!

– Как это, Софочка, «чуть-чуть»?

– А так. Прикрыта. Но... просвечивает.

– Конечно, ей можно! У нее заводы на Урале, у нее золотые прииски в Сибири. А если у меня муж в отставке без пенсии, а любовник под судом, так тут при всем желании... не разденешься.

– Ну, я пошла. Всего хорошего. Человек!

– Чего изволите?

– Подними мою муфту. Еще раз – до свиданья.

– Счастливая! Вы заметили, какой у нее «пароди»?

– Это старо. Сейчас Париж помешался на «русских блузках». Конечно, в одной блузке на улицу не выйдешь. К скромной блузочке необходимо приложение. Хотя бы кулон от Фаберже!

– В моде сейчас крохотная голова и длинные ноги.

– Об этом давно говорят. А к очень маленькой голове нужен очень большой «панаш» из перьев райских птиц... Человек!

– Чего изволите?

– Вынеси шляпу... не урони. Ремонт очень дорог...

Ванечка небрежным жестом оставил Кларе Жюли пять рублей за маникюр и помог одной даме надеть шубу (из кошки или из собаки – этого он определить не мог), прочтя ей четверостишие:

Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Ея сверкающие плечи

Я черным соболем одел.

Дама оказалась знающей и мгновенно парировала:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем. И она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха...

Действуя по наитию, Ванечка подошел к телефону.

– Здравствуй, Григорий Ефимыч, – сказал приглушенно. – Не узнал? Это я – Маска... враг твой! Я прямо от Маклакова, он к тебе хорошо относится. За что? Не знаю. Он сказал: «Ванюшка, только не обижай моего друга Распутина...» Встретимся?

– Да я в баню собрался, – отвечал Распутин, явно обрадованный тем, что Маклаков к нему хорошо относится.

– Ну, пойдем в баню. Я тебе спину потру.

– Соображай, парень... Я же с бабами!

– Соображай сам: я уже столько раз бывал женщиной, что меня твое бабье нисколько не волнует. К тому же я еще и женат.

– Ладно. Приходи. Я моюсь в Ермаковских.

– Это где? Бывшие Егоровские?

– Они самые. В Казачьем переулке... у вокзала.

Распутина сопровождали семь женщин (четыре замужние, две овдовевшие и одна разведенная). Гришка тащил под локтем здоровущий веник, так что подвоха с его стороны не было. Пошли в баню с приятными легкими разговорами. Ванечка семенил сбоку, слушая. Неожиданно Распутин спихнул его с панели, сказав:

– А меня, брат, скоро укокошат... это уж так!

– Кто? – спросил Ванечка, испытыв зуд журналиста.

– Да есть тут один такой... Ой и рожа у него! Не приведи бог... Я вчера с ним мадеру лакал. Человек острый...

Интересно было другое. На углу Казачьего переулка стояла грязная баба-нищенка, и Распутин окликнул ее дружески:

– Сестра Марефа, а я мыться иду... Не хошь ли?

– Рупь дашь, соколик, тогда уступлю – помоюсь.

– Трешку дам. Пива выпьем. Чего уж там! Причаливай...

Из соображений нравственного порядка я дальнейшие подробности опускаю, как не могущие заинтересовать нашего читателя. Но хочу сказать, что после бани Распутин платье баронессы Иксульффон-Гильденбрандт, пошитое в Париже на заказ, отдал нищенке, а знатную аристократку обрядил в отрепья сестры Марефы.

– Горда ты! – сказал ей. – Теперича смиришься...

При выходе из бани заранее был расставлен на треноге громадный ящик фотоаппарата, и Оцуп-Снарский (тогдашний фоторепортер Сувориных) шелкнул «грушей» всю компанию Гришки с дамами.

– Вот нахал Мишка! – сказал ему Распутин без обиды. – Доспел-таки меня... ну и жук ты! Пошли со мной мадеру хлебать...

* * *

Под видом интервью, якобы взятого у Распутина, Ванечка со всеми подробностями описал этот Гришкин поход в баню. Борька Суворин «интервью» напечатал в своей газете, за что, как и следовало ожидать, Ванечку потянули на Мойку – в МВД.

– Это же подлю! – сказал ему Маклаков. – Я дал слово государю, что Распутина трогать не станут, ты дал слово мне, что не обидишь его, и вдруг... сходил и помылся! Ты меня, Ванька, знаешь: шуточки-улыбочки, но и в тюрьму могу засадить так прочно, словно гвоздь в стенку, – обратно уже будет не выдернуть.

– Ну что ж, – согласился Манасевич, – травлю Распутина я позже всех начал, мною эта кампания в печати и заканчивается...

Влюбленная Пантера проглядывал списки чиновников своего министерства и напоролся на имя князя М. М. Андронникова.

– Как? – воскликнул. – И этот здесь?

Самое странное, что ни один из столоначальников не мог подтвердить своего личного знакомства с Побирушкой.

– Знаем, – говорили они, – что такой тип существует в России, но упаси бог, чтобы мы когда-либо видели его на службе.

Маклакова (даже Маклакова!) это потрясло:

– Но он уже восемнадцать лет числится по эм-вэ-дэ. Мало того, все эти годы исправно получал жалованье... за что? Неужели только за то, что граф Витте когда-то внес его в список?

Стали проверять. Все так и есть: на протяжении восемнадцати лет казна автоматически начисляла Побирушке жалованье, а Побирушка получал его, ни разу даже не присев за казенный стол.

Маклаков велел явить жулика пред «грозные очи»:

– Чем занимаетесь помимо... этого самого?

– Открываю глаза, – отвечал Побирушка бестрепетно.

– Как это?

– А вот так. Если где увижу несправедливость, моя душа сразу начинает пылать, и я открываю глаза властям предрежащим на непорядок... Я уже в готовности открыть глаза и вам!

Его выкинули. Побирушка кинулся к Сухомлинову.

– Маклаков лишил меня последнего куска хлеба. Если и ваше министерство не поддержит, мне останется умереть с голоду...

На этом мы пока с ними расстанемся.

5. Романовские торжества

Романовы-Кошкины-Захарьины-Голштейн-Готторпские...

Так исторически правильно они назывались! Было серенькое февральское утро 1613 года, когда возок с первым Романовым, ныряя в сугробах, под шум вороньего грая доставил его из Костромы в первопрестольную; болезненный и хилый отрок Михаил, плача от робости, водрузил на себя корону, которая теперь, три столетия спустя, сидела на голове его потомка Николая II... Триста лет – дата юбилейная, и Романовы весь могучий аппарат имперской пропаганды поставили на воспевание романовских торжеств, дабы в народе не иссякала вера в «добрых, премудрых и всемогущих царей-батюшек»! Ну, конечно, где торжества, где хорошие харчи с выпивкой, там без Гришки не обойтись...

В Казанском соборе совершал службу патриарх Антиохийский, когда Родзянко (под возгласы молебнов) лялся с церемониймейстером Корфом на злободневную тему: кому где стоять – где Думе, а где Сенату? Председатель добился, чтобы Сенат задвинули в мышиную тень собора, а на свет божий вытаращились пластроновые манишки «народных избранников», причем Родзянко призвал депутатов «не сдавать занятую позицию». В подкрепление своих слов он вызвал полицию, оцепившую линию думского фронта. Но не успел Родзянко отереть пот с усталого чела, как подошел пристав.

– Там какой-то мужик с крестом прется вперед, уже встал перед думскими депутатами и ни в какую не уходит...

Распутин занял позицию перед Государственной Думой, перед Государственным Советом, перед Правительствующим Сенатом – в темно-малиновой рубаше из шелка, в лакированных сапогах, а поверх крестьянской поддевки красовался наперсный крест, болтавшийся на цепочке высокохудожественной выделки.

– А ты зачем тут? – зловеще прошипел Родзянко.

И получил хамский ответ:

– А тебе какое дело?

– Посмей мне «тыкать»! За бороду вытащу...

Родзянко вспоминал: «Распутин повернулся ко мне лицом и начал бегать по мне глазами: сначала по лицу, потом в области сердца... Так продолжалось несколько мгновений. Лично я совершенно не подвержен действию гипноза, испытал это много раз, но здесь я встретил непонятную мне силу огромного воздействия. Я почувствовал накипающую во мне чисто животную злобу, кровь отхлынула к сердцу, и я сознавал, что мало-помалу прихожу в состояние подлинного бешенства». На гипнотический сеанс мужика столбовой дворянин ответил своим гипнотическим сеансом, глядя на варнака с таким напряжением, что, казалось, глаза вылетят прочь и повиснут на ниточках нервов... И что же? Гипноз Родзянки оказался сильнее: Гришка съежился и перешел на «вы»:

– Что вам угодно от меня? – спросил он тихо.

– Чтобы ты сейчас же убрался отсюда.

– У меня билет... от людей, которые повыше вас.

– Пошел вон... с билетом вместе!

«Распутин искоса взглянул на меня, звучно опустил на колени и начал отбивать земные поклоны. Возмущенный этой наглостью, я толкнул его в бок и сказал: „Довольно тебе ломаться!“ С глубоким вздохом и со словами: „О господи, прости его грех“, Распутин... направился к выходу». А там, на улице, оказывается, его, как важную персону, поджидал автомобиль из царского гаража, выездной лакей в императорской ливрее подал ему великолепную шубу из соболей, какой не мог бы справиться себе и Родзянко.

Распутин потом со смехом рассказывал:

– Я хорошую свинью подложил Родзянке, когда из собора ушел. Меня в собор сам царь звал. Спросит он: «А где ж Григорий?» А меня-то и нетути. Да его, скажут, Родзянку прочь вышиб. . . Вот смеху-то будет, коли Родзянку тоже домой погонят!

В этом году Распутин внял советам друзей и решил усилить свои гипнотические свойства. Тайком, скрываясь от филеров, он посещал кабинет Осипа Фельдмана, который давал ему уроки по влиянию на людей. Но обмануть департамент полиции не удалось, и Белецкий вскоре же установил, что Распутин оказался способным учеником Фельдмана, усилив свойственную ему силу внушения. Шила в мешке не утаишь; по столице стали блуждать слухи, что Распутин уже загипнотизировал царскую семью, теперь он вертит самодержцем как хочет. Эта нелепая сплетня особенно подействовала на главаря черносотенцев – доктора Дубровина, который спешно собрал съезд «союзников», где на высоком научном уровне обсуждался вопрос о «разгипнотизировании загипнотизированных их императорских величеств»! Был даже создан особый комитет, который ничем другим, кроме гипноза, не занимался. В качестве ведущего научного консультанта к работе привлекли ординатора психиатрической клиники приват-доцента В. Карпинского, который, встретясь с Дубровиным, сказал ему так:

– Всем вам обещаю бесплатное место в своей клинике. . .

«Разгипнотизирование загипнотизированных» Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-Готторпских черносотенцам не удалось!

* * *

А Европа была по-настоящему загипнотизирована событиями на Балканах, искры пожаров долетали до берегов Невы и Одера. . . Балканские войны 1912–1913 годов мы знаем «на троечку», а ведь наши дедушки и бабушки с невыразимой тревогой раскрывали тогда газеты. В Петербурге ошибочно полагали, что армии южных славян не сдержат натиска Турции; Россия будет вынуждена оказать им поддержку, а заодно откроет для себя и черноморские проливы. Турецкую армию обучали германские инструкторы, во главе ее стоял бравый «паша» фон дер Гольц; в канун войны кайзер вызвал его в Берлин и спросил – все ли готово, чтобы дать взбучку славянам? «Ganz niebel uns» (совсем как у нас), – ответил фон дер Гольц. Турция была вооружена устаревшим оружием – германским, славяне новейшим оружием – французским. . . Внешне построение балканских войск выглядело нелепо. Болгария, Греция, Сербия и Черногория (неожиданно для Петербурга!) вдрызг разнесли турецкую армию, и та панически бежала, оставляя европейские владения, Македонию и Албанию. Русская публика, приветствуя победы славян, пела на улицах «Шуми, Марица», а в Царском Селе не могли смириться с мыслью, что болгарам достанется лакомый кусок турецкого пирога – Босфор, и потому казаки стегали на улицах публику, в восторге певшую «Шуми, Марица»! Первая Балканская война закончилась. Но не успели составить ружья в пирамиды, как сразу же – без передышки – возникла Вторая Балканская война: Сербия, Греция, Черногория и Румыния набросились теперь на Болгарию (вчерашнюю союзницу), а к ним примкнула и Турция (вчерашняя противница), – эта новая, неряшливо составленная коалиция извалтузила оставшуюся в одиночестве Болгарию. Русская дипломатия явно переоценила свое влияние на Балканах, а дух войны вырвался из повиновения мага Сазонова.

– В результате двух военных конфликтов, – рассуждал он, – возникли два политических результата: Румыния с королем, склонным к союзу с Германией, кажется, пойдет на союз с Россией, а Болгария, избитая до крови, отвернется от нас, уже примериваясь к неестественной для славян дружбе с Германией. . .

Довольных не было. Австрия потеряла надежду выйти к греческим Салоникам и нацелилась на захват Албании; Германия с тревогой наблюдала, как в синие воды Босфора рушились каменные быки пангерманского «моста», переброшенного от Берлина до Багдада. Пребывая

в «настроении больного кота», кайзер вспоминал слова фон дер Гольца о том, что в Турции, разбитой славянами, «совсем как у нас»... Сложные узлы разрубают мечами!

В светлом пиджаке и при галстучке-бабочке (что весьма легкомысленно для министра иностранных дел), Сергей Дмитриевич Сазонов не умел владеть ни лицом, ни голосом, ни жестом (что тоже не характерно для дипломата). Сейчас все его слова выдавали сильное волнение и смятение чувств, крах логики.

– Ощущение такое, – говорил он Коковцеву, – будто где-то под полом лежит «адская машина» и я слышу, как часики отщелкивают время, после чего... взрыв! Вся наша работа многих лет, все напряжение дней и бессонные ночи – все насмарку!

Коковцев, человек уравновешенный, отвечал:

– А в Берлине уже и не скрывают, что траншеи выкопаны. Но меня удивляет, что кайзер неизменно подчеркивает – война будет расовой: битва славянства с миром германцев. Мы присутствуем при завершении ужасающего процесса европейской истории...

– Где конец этого процесса?! – воскликнул Сазонов.

– Конца не ведаю, – невозмутимо сказал Коковцев, – но зато истоки процесса известны: это 1871 год, это разгром Франции бисмарковской Германией, это унижительное для французов провозглашение Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца, это... ошибки, сделанные лично нами, нашими отцами и нашими дедами еще со времен Венского конгресса!

Теперь кайзер утверждал: «Кто не за меня, тот против меня, а кто против меня, того я уничтожу». Россия три раза подряд уступала немцам, чтобы не вызвать всемирного пожара; уступила в 1909-м, в 1912-м, уступала и сейчас в 1913 году, но в 1914-м уступать будет уже нельзя. Из Берлина дошли слова кайзера: «Если войне суждено быть, то безразлично, кто ее объявит...»

– Могу ли я что-либо еще сделать? – спросил Сазонов.

– Милый Сергей Дмитриевич, вы уже никогда и ничего не сможете сделать. Вы просто не успеете отскочить в сторону, как эта пороховая бочка, сорвавшись с горы, расплющит вас.

– Значит... война?

Народы мира еще не хотели верить, что пролог уже отзвучал, – дипломатический оркестр торопливо перелистывал старые затерханные ноты, готовясь начать сумбурное вступление к первому акту великой человеческой трагедии, и безглазый дирижер, зажавшийся маэстро капитал, уже постучал по краю пюпитра: «Внимание... приготовьтесь... сейчас мы начинаем...»

* * *

В годы Балканских войн Распутин начал влезать в дела международной политики. Вернее, не он начал влезать, а его силком втаскивали в политику, заставляя разговаривать о ней... Бульварные газеты повадились брать у него интервью.

– Вот ведь, родной, – говорил Распутин, сидя на кровати, из-под которой торчал ночной горшок, – ты тока пойми! Была война там, на этих самых Балканах. Ну и стали всякие хамы орать: быть войне, быть! А вот я спросил бы писателей: нешто хорошо это? Страсти бы укрощать, а не разжигать. Памятник бы поставить – да не Столыпину, какой в Киеве нынешней осенью отгрохали, – нет, поставить бы тому, кто Россию от войны избавил.

Репортер Разумовский перебил его:

– Я из газеты «Дым Отечества»... Вот вопрос: вы русский крестьянин, неужели же вам глубоко безразличны страдания ваших же братьев-славян от ига Австрии и Турции?

На что Распутин, погладив бороду, отвечал:

– А може, я не мене ихнего страдаю. А може, славянам твоим бог свыше дал испытание от турка. Бывал я в Турции, кады по святым местам ездил... А што? Чем плохо? Народец, глядишь, не шатается. Зато славяне твои обокрали меня на вокзале...

– Но ведь войны для чего-то существуют!

– А для чего? – спросил Распутин. – Скажи, какая мне выгода, ежели я тебя, мозглявого, чичас исковеркаю и свяжу, как в кутузке? Ведь опосля уснуть – не усну. А вдруг ты, паразит такой, ночью встанешь и меня ножиком пырнешь? Так и война! Победителю мира не видать: спи вполглаза да побежденного бойся. А мы, русские, не в Европу должны поглядывать (што нам ента Европа? Да задавись она!), а лучше в глубь самих себя посмотреть: такие ли уж мы хорошие, чтобы других учить разуму?..

Этот примитивный пацифизм Распутина объяснялся просто: внутренним чутьем он понимал, что вслед за войною придет революция – и неизбежный конец его приятной веселой жизни. Германии он не знал! Но когда ездил в Царицын к Илиодору, то часто посещал колонии немцев Поволжья, где его ошеломили чистота полов, фикусы до потолка и работа сельскохозяйственных машин германского производства. Но больше всего Гришку потрясло то, что немцы-крестьяне пили по утрам... кофе.

– Мать честная! – не раз восклицал он. – Утром встал, рожу ополоснул, а ему уже кофий ставят. Не чай, а кофий! Ну, где уж нам, сиволапым, с немаками тягаться? Живем, брат, из кулька в рогожку. А тут еще воевать хотим. Как можно германца победить, ежели он по утрам кофий дует? Соображай сам...

В конце 1913 года в Петербург прибыл болгарский царь Фердинанд (из династии Кобургских). Николай II не принял его. Тогда царь Болгарии нагрянул с адъютантами прямо в квартиру Распутина на Английском проспекте, и Гришка даже не удивился:

– Чево надо? Папку повидать? Так иди. Повидаешь...

После этого император России принял царя Болгарии!

* * *

От внешней политики перейдем к сугубо внутренней, хорошо засекреченной. Чтобы иметь в доме «своего человека», Распутин выписал из Покровского племянницу Нюрку... Однажды в полдень эта девка разбудила его, крепко спавшего «после вчерашнего».

– Дядя Гриша, да встань ты... Машина-то звенит и звенит, уж я надселася – эдак страшно-то, что железки звенят...

Это звонил телефон! Календарь показывал декабрь 1913 года. В трубке Распутин услышал голос бывшей премьерши:

– Вас беспокоит Александра Ивановна Горемыкина... Сколько уж я спрашивала ваших знакомых, что вы любите больше всего, а они говорят: Григорий Ефимыч готов жить на одной картошке.

– Верно! – отозвался Гришка с охотой. – Картошку, да ежели ишо селедочку с молокой, да и лучку туда покрошить, так лучше закуски под мадеру и не придумаешь...

– Видно, что вы картофеля еще не ели! Я знаю десять способов его готовки. Вы сами скажете мне горячее спасибо.

Связываться со старухой из-за одной картошки не хотелось.

– А куды мне? Коль надо, так и в мундире наварим.

– Нет, нет, не отрицайте! Это чудо...

От старухи было никак не отлипнуть, а картошку она действительно варить умела. Гришка вскоре и сам привык, что картошка на столе должна быть только «горемычного» происхождения. Мадам Горемыкина брала таксомотор и с Моховой на Английский доставляла

картофель еще горячим, пар шел! Заметив, что Распутин целует женщин, она тоже решила с ним «похристосоваться». Но Гришка грубейшим образом отпихнул ее с себя:

– Не лезь, карга старая! Картошку варишь – и вари! А ежели твоему дохляку-мужу чего и надобно, так скажи прямо...

В этом году синодальный официоз «Колокол» благовестил на всю Русь: «Благодаря святым старцам, направляющим русскую внешнюю политику, мы избегли войны и будем надеяться, что святые старцы и в будущем спасут нас от кровавого безумия...» С этой дурацкой статьей в руках оскорбленный Сазонов спрашивал царя:

– Разве я уже не министр иностранных дел? Какие такие старцы помогли нашей стране избежать в этом году войны?

– Сергей Дмитриевич, ну стоит ли обращать внимание?.. Ну их! Поберегите нервы. Сами знаете, написать все можно!

6. Горемычные истории

В истории всегда бывают случаи, которым суждено повторяться. Побирושка с утра пораньше ломился в двери горемыкинской квартиры, на улице трещал зверский мороз, был январь 1914 года.

– Откройте, это я... у меня замерзают фиалочки!

Мадам Горемыкина накрыла лысину париком.

– Опять вы, Мишель? Но мой Жано еще почивает...

Иван Логинович Горемыкин появился из спальни, словно старая моль из выдохшегося нафталина. Искал свою челюсть.

– Это вошмутительно. Не дадут пошпать шеловеку, который вштупил в девятый десяток шишни...

– Александр Иванович, – прослезился Побирושка, – вы даже не знаете, что вас ждет.

– Да ничего меня уже давно не ждет!

– Ошибаетесь – вас ждет Распутин и...

– Зачем мне этот ваш мужик Распутин?

– Ах, не порти мне настроения, – отвечала жена. – Я уже все сделала, что только можно, а ты спрашиваешь – зачем придет Распутин? Значит, так нужно! Мишель, скажите ему главное...

– Вы снова станете премьером, – объявил Побирושка.

– Какой я премьер? Одной камфарой держусь!

– Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле, – возразила жена. – В конце концов, хотя бы ради уважения ко мне, согласись еще разочек попремьерствовать. Тебе это даже полезно! Взбодрись. Знаю я тебя: еще к молоденьким побежишь...

– Если ветру не будет, – отвечал Горемыкин.

Побирושка вскоре привел Распутина для «смотрины» будущего визиря. Перед аудиенцией с чалдоном Горемыкин взбодрил себя инъекцией и был вполне доступен для понимания широкой публики. Разговора не было – как-то не получился. Но зато был конец свидания, когда Распутин старца по колену – хлоп-с!

– Ну, с богом! Валяй... сойдет.

Когда гости удалились, жена сказала:

– Вот и все. Это вроде укола. А потом приятно...

Горемыкин пребывал в некотором миноре.

– Опять я как старая лисья шуба, которую вынимают из нафталина лишь при дурной погоде... А куда они денут Коковцева?

* * *

С тех пор как Коковцев пожелал Гришке жить в Тюмени, а царица в Ливадии показала ему спину, премьер сознавал, что «сюрпризы» еще будут, и ничему больше не удивлялся. Владимир Николаевич зачитывал в Думе декларацию правительства, когда Пуришкевич встал и заявил, что ему осточертело словоблудие премьера. Потом, в разгар бюджетных прений, на «эстраду» вылез нетрезвый Марков-Валяй и, грозя Коковцеву пальцем, будто гимназисту, произнес с упреком: «А воровать нельзя...»

– Больше в Думу я не пойду, – сказал Коковцев жене. – Меня нарочно оскорбляют, чтобы я сорвался и наговорил нелепостей!

Атака на премьера велась одновременно с двух флангов, и за царским столом подал голос молодой и красивый капитан 1-го ранга Саблин, одинаково любезный с царем (с которым он выпивал) и с царицей (с которой он спал).

– Я недавно имел беседу с Петром Львовичем Барком, он сказал ясно: пора кончать с «пьяным бюджетом» Коковцева, нельзя вытягивать доход государства на одной водке.

– Это возмутительно! – поддержала его Алиса. – Ники, пора указать премьеру, чтобы прекратил спаивать верноподданных. О нас уже и так в Европе говорят небылицы, будто мы употребляем водку в сильную жару ради создания приятной прохлады в комнатах.

– Да, это скверно! – согласился царь.

– Барк очень разумно рассуждает об экономике государства, – добавил Саблин и, дополнив рюмку царя, пододвинул к императрице тарелку с жирным прусским угрем. – Если послушать Петра Львовича, то, вне всякого сомнения, Коковцев тянет нас в...

Вечером он тишком позвонил до дворцовому телефону:

– Игнатий Порфирыч, это я... Саблин. Как вы и просили, я сегодня завел разговор о Барке и разлажал Каковцева.

– Муссируйте и дальше эти вопросы. Мне нужен Барк!

Саблин, беря деньги от Мануса, продолжал атаку:

– Барк желает национализации кредита, а Коковцев имеет наглость утверждать, что кредит космополитичен. Барк – лучший друг банкира Митьки Рубинштейна, а Митька свой человек в доме Горемыкиных, и вы знаете, что Митька сделает все, что ни попросит Григорий Ефимыч... Барк уже не раз помогал Распутину!

– Ники, ты слышишь? – спросила царица. – Подумай об этом Барке... Коковцев уже столько ласки получил от нас! Дай ему титул графа, и пусть он заберет свою водку и уходит от нас!

Саблин опять названивал Манусу:

– Кажется, они согласны отдать финансы Барку.

– Погодите, – отвечал Манус, – у меня есть еще одна кандидатура. Очевидно, вам предстоит теперь перемешать Барка с навозом и поддерживать того человека, которого я...

– Послушайте, – перебил его Саблин, – но я ведь не мальчик. Нельзя же с полного вперед реверсировать машиной назад!

В ближайшие дни Коковцев выслушал от царя массу демагогических слов о спаивании бедного народа казенной водкой.

– Скажите, – отвечал он, – будет ли бедняк пить меньше, если он узнает, что пьет не казенную, а частную водку? Не забывайте, винную монополию изобрел все-таки не я, а граф Витте³, проживающий в блаженстве, а все оплеухи за построение бюджета на «пьяном» фундаменте получаю за него я!

На докладе присутствовала и Алиса, листавшая английский журнал «The Ladies Field», в котором освещались помпезная жизнь великосветской женщины, курортный флирт, нравы Монако и Монте-Карло, игра в лаунтеннис, свадьбы принцев с принцессами и путешествия автоамазонок по Африке. Вздохнув, она из этого журнала извлекла прошение Саблина об отводе ему дорогих земель в Бессарабской губернии и протянула бумагу Коковцеву.

– Он очень беден, – сказала царица, а царь добавил, что хорошо бы помочь Саблину. – Подпишите его прошение...

Коковцев в нескольких словах, на основании законов империи, доказал, что эти казенные земли раздаче в частные руки не подлежат. Императрица гневно порвала прошение.

³ С. Ю. Витте ввел винную монополию в 1894 г., и она стала одним из рычагов «систематического, беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой помещиков, чиновников и всяких паразитов» (Ленин, соч., т. 12, с. 270). Так, например, в 1913 г. себестоимость водки составила 200 млн. руб., а население оплатило ее в сумме 900 млн. руб. Конечно, все эти разговоры Романовых о «спаивании народа» – чистая демагогия, имевшая своей целью свергнуть В. Н. Коковцева.

– Когда прошу я (я!), то все мои просьбы незаконны.

Дома, снимая фрак, Коковцев сказал жене:

– Облава закончилась – я взят на мушку!

В среду 28 января премьер делал очередной доклад царю, в конце которого царь заглянул в календарь.

– Следующий ваш доклад в пятницу? Отлично...

А дома Коковцева ждало письмо Николая II, который начинал его ненужным сообщением, что «в стране намечается огромный экономический и промышленный подъем, страна начинает жить очень ярко выраженной жизнью», за что он, царь, особо благодарен Коковцеву, а в конце письма было сказано, что они останутся хорошими друзьями. В пятницу, как и было договорено, Коковцев сделал доклад. Царя было не узнать. Голова его тряслась, он прятал глаза. Неожиданно искренне расплакался, с губ императора срывались страшные, терзающие признания:

– Простите... меня загоняли... эти бабы... с утра до вечера... Одно и то же... Владимир Николаич, я ведь понимаю, что ни Барк, ни Горемыкин ни к черту не нужны мне... Простите, если можете... Я сам не знаю... как... это... случилось!

Самому же Коковцеву пришлось и утешать царя:

– Не отчаивайтесь! Я понимаю: тут не вы, а иные силы...

Был очень сильный мороз. С открытой головой, продолжая плакать, царь проводил Коковцева до крыльца, повторяя:

– Ко мне все-таки приставали... простите!

Воздух звенел от стужи, снежинки таяли на заплаканном лице императора, мешаясь с его слезами, и в этот момент Коковцев впервые за все эти годы увидел в нем просто человека. 20 января был опубликован указ, что Коковцев увольняется с поста председателя Совета Министров и заодно с поста министра финансов, «нисходя к его просьбе»... Жене Коковцев сказал:

– Люди прочтут и решат, что это я сам устроил! Министром финансов сделался ставленник Мануса банкир Барк, а премьером стал Горемыкин, который при знакомстве со своим секретариатом выдал свой первый убийственный афоризм: «Если хотите со мной разговаривать, вы должны молчать...»

Друг, не верь слепой надежде,
говорю тебе – не верь:
горе мыкали мы прежде,
горе мыкаем теперь.

Альтшуллер, сидя в своей конторе, собирал сведения о русской армии, а заодно, как он сам признался, «хотел заработать» на пушках с паршивым лафетом системы Депора. Тут история темная. Конная артиллерия готовилась получить пушки Шнейдера, но Сухомлинов заказ на эту пушку Путиловскому заводу притормозил, а на полигонных испытаниях он разругал ее, нахваливая пушки с лафетом Депора... Наталья Червинская, вся в модном крэп д'эшине, шпарила на машинке какие-то непонятные для нее бумаги, а на Невском уже начало пригревать мерзлые колдобины снега.

– Вы печатайте и дальше, – сказал ей Альтшуллер, – а я немножко пройду. Весна, знаете, она всегда волнуется...

Он вышел и больше не вернулся. Альтшуллер был обнаружен в... Вене, а на самом видном месте его питерской конторы остался висеть портрет Сухомлинова с дарственной надписью «Лучшему другу, с которым никогда не приходится скучать!».

Военный министр даже обиделся на своего друга:

– Как же так? Уехал и забыл попрощаться...

Червинская оказалась в этом случае умнее его:

– Похоже, что скоро начнется война...

В эти дни Степану Белецкому доложили, что его желает видеть доцент Московского университета Михаил Хохловкин.

– Не знаю такого. Но пусть войдет, если пришел.

Перед ним предстал молодой смущенный человек.

– Я прямо из Вены, – сообщил он.

– Из Вены? А что вы там делали?

– Проходил научную стажировку в тамошнем университете, надеюсь в будущем занять кафедру в Москве по классу германской истории средневековья. Я ученик венского профессора Ганса Иберсбергера, который, в свою очередь, учился в Москве.

– Так, слушаю вас. Дальше.

– На днях я пришел, как обычно, к профессору Иберсбергеру, а он сказал мне: «Миша, занятия кончились. Вы, как военнообязанный, возвращаетесь домой в Россию, ибо скоро начнется большая война и вы должны явиться в полк...» Я думаю, – закончил доцент, – этот факт должен быть известен правительству!

Белецкий отпустил от себя наивного ученого и, сняв трубку телефона, долго думал – кому бы брякнуть? Решил, что генерал Поливанов лучше других отреагирует на это известие. Он ему рассказал о визите Хохловкина и получил ответ:

– Плохо, если война. Плохо! Мы к ней не готовы...

7. «МЫ ГОТОВЫ!»

Борька Ржевский, нижегородский голодранец, уже сидел однажды в тюрьме за «незаконное ношение формы». Вторично он был задержан полицией на перроне Николаевского вокзала, когда выперся из вагона в мундире офицера болгарской армии.

- Позвольте, позвольте, – возмутился он.
- Нет, это вы позвольте, – резонно отвечали ему.
- Но я не позволю хватать себя, офицера...
- Позвольте ваши документы!

Документы в порядке. Ржевский самым честным образом отгрохал все Балканские войны, получил от царя Фердинанда чин и право носить форму имел. В этой форме, с немислимым орденом на груди (величиною с десертную тарелку) он без особого трения протерся в кабинет к военному министру Сухомлинову.

- Корреспондент «Нового времени», честь имею!
- Честь – это в наши дни то, на чем мы держимся.
- Так точно, – отвечала шмоль-голь перекатная...

Выяснилось, что министру он нужен. Именно он!

– В пору великого напряжения умов и накала страстей оголтелого германского милитаризма мы не отступим ни на шаг! – продекламировал Сухомлинов. – Мы должны дать достойный ответ берлинским поджигателям войны... в печати!

- Это мне по зубам, – сказал Борька.
- Тогда берите перо. Пишите...

Кто был автор статьи – никто не знает. Наверное, я так думаю, министр подкидывал идеи, как полешки в плохо горящую печку, а журналист брызгал на них керосином, чтобы ярче горели. Они заранее расписались в победе: «В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов... военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутах русской армии!» Два пижона, молодой и старый, заверяли русское общество, что арсеналы полны, солдат всем обеспечен для боя, пусть только сунутся – мы их шапками закидаем... Щеголяя красными штанами, министр диктовал:

– Мы с гордостью можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Записали? Особо выделите фразу: Россия готова!.. Идея обороны отложена, русская армия будет активной. Всегда воевавшая только на чужой территории, она совершенно забудет понятие об обороне... Наша армия является сейчас лучшей и передовой армией в мире!

Статье придумали заглавие: «РОССИЯ ХОЧЕТ МИРА, НО ГОТОВА К ВОЙНЕ», и ее тут же опубликовали в газете «Биржевые ведомости», вызвав немалую сумятицу мнений в самой России и большой переполох среди недругов. По сути дела, Сухомлинов и Ржевский дали пикантный материал в руки германских шовинистов, и те ускорили гонку событий, доказывая в рейхстаге, что, если войне быть, так лучше ей быть сейчас, нежели позже... Ржевский выходил на большую дорогу журналистики! В Суворинском клубе, где стучалась слякоть газетной богемы, некто Гейне приучил его к славе и кокаину, а потом... потом Борьку вызвал к себе Белецкий.

– Когда вас заахентурили?.. Что ж, польщен иметь ахента из классиков. Приятель ваш Гейне... что о нем скажете?

– Инженер из евреев. Кажется, врет, что потомок Гейне... того самого. Ну, пишет стихи. Ужасно бездарные!

- А зачем набаламутили, что «мы готовы»?

- При чем здесь я? Сухомлинов – голова...
- Ну ладно. Оставим классику. Кокаин есть?
- Вместо «кокаин» Белецкий говорил «хохаин».

* * *

Петр Дурново, бывший министр внутренних дел, подавлявший революцию 1905 года, повидался с царем...

– Государь, – сказал он ему⁴, – в перспективе у нас война с Германией, и это очень страшно для нас. Наш нетрадиционный союз с Францией и Англией противоестествен.

– Вилли уже не раз говорил мне.

– Кайзер прав! – подхватил Дурново. – Россия и Германия представляют в цивилизованном мире ярко консервативное начало, противоположное республиканскому. Наша война с немцами вызовет ослабление мирового консервативного режима.

– Понимаю и это, – тихо отвечал царь, – как понимает и Вилли, но обстоятельства сильнее нас. Нами движет рок!

Далее Дурново произнес пророческие слова:

– Сейчас уже безразлично, кто победит – Россия Германию или Германия Россию. Независимо от этого в побежденной стране неизбежно возникнет революция, но при этом социальная революция из побежденной страны обязательно перекинется в страну победившую, и потому, государь, не будет ни победителей, ни побежденных, как не будет и нас с вами. Но, – выделил Дурново, – любая революция в России выльется в социалистические формы!

Николай II пожал плечами. Дурново продолжал:

– Я много лет посвятил изучению социальной доктрины и говорю на основании антигосударственных учений. Германский кайзер отлично знаком с идеями социализма, и потому он столь часто напоминал вам, что военное единоробство монархических держав, каковы наши, вызовет неизбежный крах обеих монархий... Так думаю не я один! Поговорите хотя бы со Штюрмером.

– Я знать не желаю этого вора, – ответил царь.

– Вор, может быть. Но думает одинаково со мною.

– Штюрмер – германofil!

– А почему вы не скажете этого же про меня?

– Вы, Петр Николаич, истинно русский.

Дурново даже засмеялся, довольный:

– Совершенно верно. Истинно русский дворянин, я вынужден стать отчаянным германofilом. Поверьте, что, страдая за сохранение вашего престола, я становлюсь еще при этом самым горячим поклонником Германии... А что мне еще остается делать?

Дурново нечаянно раскрыл секрет «германofilства» русских монархистов: не любовь к Германии двигала ими – страх перед грядущей революцией пролетариата, вот что заставляло их нежно взирать на Германию, грохочущую солдатскими сапогами.

– Не знаю, – сказал Дурново, поднимаясь, – убедил я вас или нет, но если имя графа Витте хоть что-нибудь для вас еще значит... он один из ярых противников войны с немцами.

Николай II неожиданно вспылил:

– Витте я никогда не позволял в своем присутствии выражать те мысли, которые я позволил выразить вам.

⁴ Приношу извинения перед читателем за то, что известную в истории «Записку» П. Н. Дурново я перевел в прямую речь, дабы мне было удобнее выделить в ней самое существенное.

– Благодарю за доверие, государь. А жаль... Витте, правда, выступал против войны, но, в отличие от Дурново, граф был подлинным германофилом (уже без кавычек). Витте любил Россию, как столоначальник обожает свою канцелярию, где перед ним ходят на цыпочках, а он получает чины и награды. Германия нравилась Витте порядком, отсутствие которого в России графа всегда раздражало. Споры нет, немцы посыпают дорожки песочком, никто не справляет нужды в кустах, а германские ватеры вызывали у Витте чувство восхищения. Помимо сказочной виллы в Биаррице Витте – с помощью кайзера! – обрел в Германии большое имение, где и собирался провести остаток своих дней. Великий финансист не доверял своим деньгам даже Швейцарии – они лежали в банках Берлина, под надежной охраной кайзеровского «порядка». «Коли возникнет война, – говорили ему русские, – кайзер все ваши деньги секвеструет». «Быть того не может, – отвечал Витте, – чтобы кайзер и наш император решились воевать между собой. Это было бы актом самоубийства не только двух монархий, но и двух миров, без которых жизнь человечества вообще немыслима...» Он читал немецкие газеты, где говорилось о «резком оживлении расового инстинкта» у славян; пангерманцы указывали, что грядущая битва будет расовой битвой, настала «пора всех славян выкупать в грязной луже позора и бесилия...».

Витте гулял по дорожкам, посыпанным чистым песочком.

В кустах никто не сидел!

* * *

«Новое оружие – новая тактика», – плох тот генерал, который забыл об этом... И десяти лет не прошло со времени войны с Японией, а густые колонны пехоты уже рассыпались в цепи, батареи скатились с высот и укрылись в низинах, кавалерийская лава с полного аллюра распалась на эскадроны, а над ними (все замечая и всему угрожая) поплыли рыбины дирижаблей и закружились аэропланы. Вот-вот должен был родиться новый вид артиллерии – зенитной, а ко всем тревогам людской жизни XX век прибавлял еще и «воздушную тревогу». В океанах настойчиво стучали дизели подводных лодок, поглощая жидкое топливо, солжары и мазуты, турбинные агрегаты выводили корабли в долгие плавания...

Война стучалась в дверь, а Сухомлинову хотелось побыть в роли главнокомандующего, чтобы в Потсдаме поставить кайзера на колени. Дядю Николашу в угол он уже поставил – надо его теперь высечь! Еще в декабре 1910 года Сухомлинов затеял военную игру на тему «нападение Германии на Россию». Он запланировал ловушку для великого князя, чтобы тот при всех выявил свою бестолковость, но дядю Николашу предупредили о готовящейся каверзе, и царь тогда запретил играть.

Армия учится на маневрах. Генералы учатся побеждать во время военной игры – игры, похожей на шахматную, но построенной на твердом основании учета боевых возможностей, своих и противника. В апреле 1914 года Сухомлинов снова решил сыграть на игру, дабы всем стала ясна его мудрость как военачальника. Играли в Киеве, причем был созван весь цвет русского генералитета. Тема игры актуальная: война России с Германией и Австрией.

– Господа, начнем побеждать, – призвал министр.

Он выступал в роли русского главнокомандующего, а против него играли за Австрию и Германию генштабисты Янушкевич и Алексеев, с «русской армией» Сухомлинова бились опытные вояки – Брусилов, Жилинский, Иванов, Гутор и прочие. В самый разгар игры «наступление» Сухомлинова было остановлено арбитрами:

– У вас больше нету снарядов. Стойте!

– Мои арсеналы, вы знаете, полны.

– Вы их исчерпали до последнего снаряда.

– Но заводы мои работают.

– Они не справляются с заказами фронта...

«Русскую армию» начали загонять в тылы России.

– Что вы на меня жмете, господа?

– Но у нас, – отвечали генералы, двигая фишки дивизий «противника», – арсеналы еще не иссякли. Наши заводы работают...

– Я не могу так играть! – отказался Сухомлинов.

Он запретил проводить разбор игры, и генералы разъезжались по своим округам в поганейшем настроении: игра показала неготовность России к войне с немцами. Министр вернулся в столицу, где сделал все, чтобы печальные результаты киевской игры не дошли до широкой публики... Тут его навестил Побирушка.

– Как порядочный человек, я вижу цель жизни в том, чтобы открывать людям глаза на все несправедливости нашего мира...

– Превосходно! Благородно! Достоинно подражания!

– И сейчас я хочу открыть глаза вам, – заявил Побирушка. – Я долго молчал, страдая, но больше молчать на стану. Знайте: ваша Екатерина Викторовна давно живет с Леоном Манташевым!

– Как живет?

– Плотски.

– Зачем?

– Не знаю.

– Не верю. Такой приятный человек, миллионер...

– Одно другому не мешает, – заверил его Побирушка.

Сухомлинов, кажется, прозрел:

– Благодарю... То-то я не раз замечал: даю сто рублей – жена тратит тысячу, даю тысячу – тратит десять тысяч.

– Вот именно! – подхватил Побирушка, указательным пальцем изображая в воздухе черту, которая должна стать итоговой...

Сухомлинов резко поднялся из кресла.

– Сейчас пойду и устрою ей страшный скандал!

Ушел. Из супружеских комнат слышались крики, женский плач, мольбы и клятвы (Побирушка наслаждался). Но тут появились оба – и к нему. Красный, как и его штаны, министр кричал:

– Как вам не стыдно порочить честную женщину? Катенька мне все сказала. Она и господин Манташев – добрые друзья... Вон!

– Вон! – повторила Екатерина Викторовна. – За все наше добро... ходил тут, ел, пил... Ноги чтоб вашей не было!

– Чтоб не было! – подхватил министр. – А еще князь... Потомок царей Кахетии... Непристойно! Возмутительно!..

Этого Побирушка никак не ожидал. Его выперли прочь из квартиры Сухомлинова, а точнее – от самого носа забрали жирную кормушку Военного министерства. «Вот после этого и открывай глаза людям!» Он вернулся домой едва не плача. Переживал страшно:

– Пропали мои лошадиные шкуры... Что делать? Говорят, на Кавказе обнаружены ценные залежи марганца. Может, заняться их разработкой? Ах, люди, люди... не любите вы правды!

Раздался спасительный звонок от Червинской, которая о скандале у Сухомлиновых уже знала в подробностях.

– Плюньте на все, – сказала она, – и приезжайте ко мне. У меня сейчас... хвост! Без шуток. Самый настоящий. Пушистый. Ласковый. И хочет напиться. Берите вино – приезжайте...

Побирушка приехал. На диване сидел толстый молодой человек без пиджака, с очень хитрым выражением лица. Наталья Илларионовна слишком интимно обращалась с этим господином.

– Вот это и есть мой хвостик... Знакомьтесь!

Побирушке выпал приятный случай представиться орловскому депутату, лидеру думской фракции правых – Хвостову.

– А почему вас в Думе не слышать? – спросил он.

– Да знаете, – помялся Хвостов, – просто нет желания трепаться напрасно. А темы для речи еще не нашупал...

Побирушка выставил бутылки с рейнвейном из портфеля.

– Бурда! – сказал Хвостов. – Колбасники нальют в бутылки воды из своего заплеванного Рейна и продают нам под видом рейнвейна.

– Вот и тема, – намекнул Побирушка. – Сейчас немцев ругать очень модно и выгодно... Выступите с трибуны Думы!

В бутылках была все-таки не вода, и Хвостов, опьянев, стал позволять себе нескромные поглаживания госпожи Червинской под столом, тогда она встала и заняла ему руки гитарой.

– У него хороший голос, вот послушай, – сказала она Побирушке, а Хвостов запел приятным баритоном:

Разбирая поблекшие карточки,
окроплю запоздалой слезой
гимназисточку в беленьком фартучке,
гимназисточку с русой косой...

В этот момент он был даже чем-то симпатичен и, казалось, заново переживал юность, наполненную еще не испохабленной лирикой провожания гимназистки в тихой провинции, где цветет скромная сирень, а на реке перекликаются колесные пароходы...

С остервенением Хвостов рванул зыбкие струны:

* * *

Все прошло! Кто теперь вас ревнует?
Только вряд ли сильнее меня.
Кто теперь ваши руки целует,
и целует ли так же, как я?..

Закончил и окунул лицо в растопыренные пальцы.

– Черт возьми, – сказал лидер правых, – жизнь летит, а еще ничего не сделано... для истории! Для нее, для проклятой!

Побирушка, расчувствовавшись, заметил Хвостову:

– Алексей Николаич, вы такой умный мужчина, с вами так приятно беседовать, слушайте, а почему бы вам не претендовать на высокий пост... скажем, в эм-вэ-дэ?

– Спросу на нас пока нету, но... мы готовы!

8. Герои сумерек

Сергей Труфанов (бывший Илиодор) выбрал в жены красивую девушку из крестьянок, и газеты Синода сразу забили в набат: вот зачем он отрекся от бога – чтобы бог ему блудить не мешал! Между тем Серега вел здоровый образ жизни, жену любил, вином не баловался, по весне поднимал на хуторе пашню. Газеты публиковали его фотографии, где он в пальто и в меховой шапке сидит возле избы, а подле него стоит ядреная молодуха в белом пуховом платке. В руке Сергея Труфанова – палка вечного странника, а узкие змеиные глаза полны злодейского очарования и хитрости...

Неожиданно, будто с луны свалился, притопал на Дон корреспондент американского журнала «Метрополитэн».

– Америка заплатит шесть тысяч долларов. Продайте нам свои мемуары о похождениях вместе с Гришкой Распутиным.

– Я не пишу мемуаров, – скромно отвечал Илиодор...

Он писал их по ночам, когда на полотах сладко спала юная жена. Изливая всю желчь против «святого черта», выплескивал на бумагу яростные брызги памяти. Заодно с Гришкой он крамольно изгадил и царя с царицей, а это грозило по меньшей мере сразу тремя статьями – 73, 74 и 103... Ночью в оконце избы постучали, из тьмы выступило безносое лицо Хионии Гусевой.

– Благослови, батюшка, – сказала она, показав длинный кинжал. – Есть ли грех в том, что заколю Гришку во славу божию, как пророк Илья заколол ложных пророков Вааловых?

– Греха в том нету, касатушка, – отвечал Серега.

Еще зимой он организовал женский заговор против Распутина, во главе заговора встала одна врачиха из радикальной интеллигенции, желавшая охолостить Гришку по всем правилам хирургии, но заговор был раскрыт полицией в самом начале, и по слухам Серега знал, что Распутин сделался малость осторожнее. Он дал Хионии денег, проводил убогую странницу до околицы.

– Кишки выпускай ему не в Питере, а в Покровском: дома он всегда чувствует себя в полной безопасности...

Гусева заехала на рудники сибирской каторги, где с 1905 года сидел ее брат-революционер, сосланный за убийство полицейского. Хиония раскрыла ему свои планы, и брат ответил:

– Жалко мне тебя, Хионюшка, бабье ль это дело – ножиком распутника резать? Но я знаю, ты ведь упрямая...

Она появилась в Покровском и стала выжидать Распутина. Русские газеты называли ее потом – «героиня наших сумерек».

* * *

Настало роковое лето 1914 года, душное и грозное.

Распутин, как солдат со службы, приехал на побывку в родное село, усердно высек сына Дмитрия, потаскал за волосы Парашку («чтоб себя не забывала»), потом остыл, и Хиония Гусева видела его едущим на телеге с давним приятелем монахом Мартьяном, причем Гришка сидел на мешке со свежими огурцами, а Мартьян держал на весу полное ведро с водкой, которая расплескивалась на ухабах, а Распутин при этом кричал: «Эх, мать-размать, гляди, добро льется...» Вечером, никому не давая уснуть, Распутин заводил сразу три граммофона, а потом пьяный вышел на двор, где рассказывал прибывшим из Питера филерам, как его любит Горемыкин, зато не любит великий князь Николай Николаевич. Дневник филерского наблюдения отметил приезд в Покровское жены синодского казначея Ленки Соловьевой – толстая коро-

тышка, она скакала вокруг Гришки, крича: «Ах, отец... отец ты мой!» Распутин тоже прыгал вокруг коротышки, хлопая себя по бедрам, восклицая: «Ах, мать... мать ты моя!» Через несколько дней в далеком Петербурге Степан Белецкий ознакомился с подробностями:

«В 8 часов вечера Распутин вышел из дома с красным лицом, выпивший, с ним Соловьева, сели в экипаж и поехали далеко за деревню в лес; через час вернулись, причем Распутин был очень бледным... Приехала еще Патушинская, жена офицера. Соловьева и Патушинская, обхватив Распутина с двух сторон, повели его в лес, а он Патушинскую держал за... Обедал из одной тарелки с сыном, руками доставал из тарелки капусту и клал ее себе в ложку, а потом отправлял в рот... Был дождь, в селе много грязи. Жена сказала, чтобы не шлялся. Он послал ее к черту и долго шлялся по грязи... Вечером вылез в окошко на двор, а Патушинская вылезла через другое окно, она подала ему знак рукою, после чего они оба удалились во мрак и до утра пропали...»

Случайно Распутин повстречал на улице села питерского репортера Абрама Давидсона, спросил – чего он здесь шныряет?

– Да так, Ефимыч, занесло к тебе в поисках темы. Не дашь ли мне сам матерьяльца похлеще?

– Я вот как дам тебе сейчас... Убирайся вон!

Давидсон не уехал, а засел в соседней избе возле окошка и все видел... Все! Распутину сказали, что пришла телеграмма. Он встал из-за стола в одной рубашке и пошел к воротам, где его поджидала Хиония Гусева, накрытая большим черным платком.

– Тебе чего, безносая, надоть? – спросил Гришка.

– Подай милостыньку, – просипела Гусева.

Гришка достал кошелек из штанов, ковырялся в нем пальцем, отделяя медь от серебра. Вдруг черный платок слетел с Гусевой и накрыл его с головой. Последовал удар кинжалом прямо в живот, и Распутин со страшным криком побежал. Смахнув с себя платок, он увидел, что из распоротого живота волочатся кишки. Тогда, остановясь, он стал поспешно запихивать их в свою утробу.

– Нет, милый, не уйдешь! – настигла его Гусева.

Распутин схватил полено и одним мощным ударом выбил нож из ее руки. Тут набежали люди, Гусеву схватили и стали избивать насмерть. Давидсон спас женщину от самосуда и, придерживая Гришку за локоть, помог ему подняться на крыльцо.

– А-а, это ты, Абрашка! – узнал его Распутин. – Оно и ловко, что ты не уехал... Давай, стропали в газеты по всему миру, что меня хотели убить, но я выживу, выживу, выживу...

В царский дворец полетела телеграмма: КАКА ТА СТЕРВА ПРНУЛА В ЖИВОТ ГРЕГОРИЙ. Телеграф отстучал немедленный ответ: СКОРБИМ И МОЛИМСЯ АЛЕКСАНДРА... Гришку срочно отвезли в тюменскую больницу, а Хионию запихнули в одиночку тюменской тюрьмы. По рукам придворных дам ходила тогда фотография: Распутин в кальсонах сидит на больничной кровати, низко опустив голову и уронив безвольные руки, из густой бороды торчит длинный унылый нос, а по низу карточки его рукой писано: НЕВЕДАМО ЧТО С НАМИ УТРЕ ГРЕГОРИЙ. Врачи находили его положение серьезным, была сделана сложная операция. Распутин твердил:

– Выживу... выживу... выживу...

Газеты публиковали телеграммы-бюллетени о здоровье «нашего старца» в таких почтительных тонах, будто речь шла о драгоценном здравии государственного мужа. Николай II вызвал Влюбленную Пантеру и учинил разнос за это покушение:

– Чтобы впредь подобного никогда не было!

– Слушаюсь, ваше величество, – отвечал Маклаков...

Поправившись, Гришка со значением говорил:

– Безносая – дура, сама не знала, кого пыряет. Чую, что тут рука видна Илиодора... Серега-то, гад, гуляет! Опередил меня: не я ему, а он мне, анахтема, кишки выпустил...

Газеты тут же подхватили эти слова. Труфанов, ощутив опасность заранее, начал собираться в дальнюю дорогу. Первым делом он побрился, примерил на себя платье жены, повязался ее платком, и получилась баба... Не просто баба, а красивая баба!

* * *

Витте по обыкновению проводил летний сезон на германских курортах близ Наугейма. Уже попахивало порохом, и разговоры отдыхающих, естественно, вращались вокруг политики... Среди фланирующей публики Витте случайно встретил питерского чиновника из министерства земледелия – Осмоловского.

– Сейчас, – сказал ему Витте, – в России только один человек способен распутать сложную политическую обстановку.

– Кто же этот человек-гений?

– Распутин, – убежденно отвечал Витте.

Бедного человека даже зашатало, и он, горячась, стал доказывать графу, что это чепуха: если даже политики мира бессильны, то как может предотвратить войну безграмотный мужик, едва умеющий читать по складам? Витте ответил ему так:

– Вы не знаете его большого ума. Он лучше нас с вами постиг Россию, ее дух и ее исторические стремления. Распутин знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он сейчас ранен, и его нет в Царском Селе...

Эти слова Витте насторожили наших историков. Они стали сверять и проверять. С некоторыми оговорками историки все же признали за истину, что, будь Распутин тогда в Петербурге, и войны могло бы не быть! Академик М. Н. Покровский писал: «Старец лучше понимал возможное роковое значение начинавшегося!» Я просматривал поденные записи филеров, ходивших за Распутиным по пятам, и под 1915 годом наткнулся на такую запись: «Год прошлый, – говорил Гришка филерам, – когда я лежал в больнице и слышно было, что скоро будет война, я просил государя не воевать и по этому случаю переслал ему штук двадцать телеграмм, одну послал очень серьезную, за которую хотели меня предать суду. Доложили об этом государю, а он ответил: „Это наши семейные дела, и суду они не подлежат...“»!

А наша «красивая баба» с узкими змеиными глазами, источавшими зло и лукавство, благополучно добралась до Петербурга, где с Николаевского вокзала на извозчике прокатилась до Финляндского, откуда утренний поезд повез «ее» дальше, минуя лесистые просторы прекрасной страны Суоми. Имея на руках подложный паспорт и два заряженных браунинга, «красивая баба» сошла с поезда в Улеборге, отсюда «она» пароходиком добралась до пограничного города Торнео... Ночью пограничник видел, как в четырех верстах выше таможи тень женщины метнулась к реке.

– Стой, зараза! Стрелять буду...

Но «баба» отвечала ему уже с другого берега:

– Эй, парень! Скажи своему начальству, что Серега Труфанов, бывший иеромонах Илиодор, благополучно пересек границу Российской империи, и теперь я плевать на всех вас хотел...

За пазухой он таил драгоценное сокровище – рукопись книги по названию «СВЯТОЙ ЧЕРТ, или ПРАВДА О ГРИШКЕ РАСПУТИНЕ».

* * *

А пока Гришка валялся в больнице, залечивая распоротый живот, в Сараеве грянул суматошный выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, который позже позволил Ярославу Гашеку начать роман о похождениях бравого солдата Швейка такими словами: «А Фердинанда-то ухлопали...»

Сейчас читать Гашека смешно. Но тогда люди не смеялись. Начинался кризис. Июльский. Трагический. Неповторимый.

9. Июльская лихорадка

С тех пор как существует история человечества, королей и герцогов резали, топили, прищемляли в воротах, травили словно крыс, и это было в порядке вещей. Но теперь в убийстве эрцгерцога Фердинанда германские политики увидели удобный повод для развязывания войны...

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

– Австрия ожесточилась на Сербию...

Сазонов повидался с германским послом Шурталесом.

– Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, то ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа... Еще раз подтверждаю, что Россия стоит за мир, но мирная политика не всегда пассивна!

20 июля ожидался приезд в Петербург французского президента Пуанкаре, и в Вене решили подождать с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его лишь тогда, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции... Это был ловкий ход венской политики!

* * *

20 июля... Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия»; с ним были жена и дочери. Подали завтрак, во время которого император много курил, бросая папиросы за борт. Французскому послу Палеологу он сказал:

– Говорят, у моего кузена Вилли что-то давно болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление уже на мозг?

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды финского залива медленно утюжил громадный дредноут «Франс», за ним шел «Жан Барт», рыскали контрминоносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре подошел на катере, принятый у трапа самим царем. «Александрия» взяла курс на Петергоф, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Обмывая золотые фигуры скульптур, фонтаны взметали к небу струи прохладной сверкающей воды, просвеченной лучезарным солнцем.

– Версаль, – сказал Пуанкаре. – Нет, Версаль хуже...

Вечером в старинном зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи несли на себе полыхающий ливень алмазов, жемчугов, бериллов и топазов. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу с глубоким декольте, которое было закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, – отметил Палеолог, – она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком...» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II – по шпаргалке. Возвращаясь из Петергофа ночным поездом, Палеолог просмотрел свежие питерские газеты.

– Обратите внимание, – подсказал секретарь, – сегодня забастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

– Их подстрекают германские агенты, – ответил посол.

* * *

21 июля... Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент задержал его руку в своей, расспрашивая немецкого посла о его французских предках. Палеолог подвел к президенту английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с надушенными усами и с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что русский царь не будет мешать англичанам в делах персидских. Наконец, ему представили графа Сапари – посла австрийского, которому Пуанкаре выразил вежливое сочувствие по случаю убийства сербами герцога Фердинанда.

– Но случай в Сараеве не таков, чтобы его раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов много друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал:

– Я думаю, все обойдется...

Вечером французское посольство давало обед русской знати, а петербургская Дума угощала офицеров французской эскадры. Играли оркестры, дамы много танцевали, от изобилия свезенных корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать... В этот день полиция провела массовые аресты среди рабочих, выступавших за мир. Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» – говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал отметку: «Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

* * *

22 июля... Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками – вплотную. На трибунах полно было публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту Николай Николаевич – будущий главковерх. Палеолога за столом обсади по флангам две черногорки, Милица и Стана Николаевны, непрерывно трещавшие:

– Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногорский, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине... Германию мы уничтожим! – Внезапно они смолкли, будто их мгновенно запечатали пробками. – Простите, посол, но... сюда смотрит императрица!

Палеолог посмотрел на Алису: она медленно покрывалась красными пятнами, и черногорки более уже не беспокоили посла.

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума)...

Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции.

* * *

23 июля... Прощальный обед на палубе дредноута «Франс»: над банкетными столами, простираясь в сизые хляби морей, вытянулись стальные хоботы башенных установок; короткий и теплый шквал растрепал цветочные клумбы на палубе корабля... Пуанкаре бросил послед-

ную фразу: «У наших стран один общий идеал мира!» После чего вместе с царем он поднялся на мостик, чтобы в тиши штурманских рубок обкатать последние сомнения перед решительным прыжком в пропасть. Императрица, сидя на палубе в кресле, указала Палеологу на соседнее, приглашая посла к беседе.

– Я ужасно боюсь грозы. Эта музыка...

«Со страдающим видом она указывает мне на оркестры эскадры, которые близ нас начинают яростное аллегро, подкрепляемое медными инструментами и барабанами». Палеолог велел капельмейстеру играть потише, но тот, не поняв, совсем остановил оркестр.

– Так лучше, – сказала императрица.

Взрослая дочь Ольга подошла к матери и учинила ей, кажется, выговор за бестактное поведение в гостях. Посол отметил «надутые губы» Алисы и завел пустую речь об удовольствии морских путешествий. С мостика, жестикулируя, спустились Николай II и Пуанкаре, оркестры снова заполнили рейды гимнами. Караул матросов, крепко шлепая ладонями по прикладам, отбил салютацию, президент стал прощаться... Тысячи людей проводили глазами эскадру, за которой низко над водой стлался бурый неприятный дым.

А когда эскадра растворилась в сумерках моря, Австрия вручила Сербии ультиматум – провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея Белград даже крупинки гордости, он все равно отказался бы принять венские условия. Принять такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости... В этот же день кайзер очень крупно проболтался:

– Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников... Надо покрепче наступать на ноги всей этой славянской сволочи!

Сербские министры, прижатые к стенке, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов.

* * *

24 июля... В полдень Сазонов посетил французское посольство, где за завтраком встретился с Палеологом и Бьюкененом.

– Нам нужно быть твердыми, – сказал Палеолог.

– Твердая политика – война, – ответил Сазонов.

Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские притязания»). В три часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. Коллегиально решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет – в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце Елагина дворца поджидал решения посол Спалайкович.

– Пока еще ничего не ясно, – сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ждал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами. – А мы не оставим сербов в беде, – предупредил его Сазонов.

– А мы не оставим нашу союзницу Австрию.

– Ради чего? Ради ее балканских appetitов?

– Послушайте, – нервно заговорил Пурталес, – австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?

– Ради бога! – воскликнул Сазонов. – Пускай он помирает! Весь мир только и делает, что удивляется его долголетию.

– Вы, русские, просто не любите Австрии...

– А почему мы, русские, должны любить вашу Австрию, которая принесла нам зла больше, чем турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали 80 000 000 рублей, хранившихся в германских банках. В этот день германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручали ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

* * *

25 июля... Столичные вокзалы уже трещали; дачники метались как угорелые, не в силах решить, что им делать – отдыхать на дачах или трепыхаться в городском пекле; масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими португееями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи – с цветами, веселые, нервно-приподнятые. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: **АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ**... В Царском Селе было уже известно, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился – он стоял за частичную. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона...

Бьюкенену Сазонов сказал конкретно:

– Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если вы заявите на весь мир, что поддержите нас и Францию, войны не будет. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови... Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время сербский президент Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум венскому послу в Белграде – барону Гизлю. Сербское правительство выявило в своей ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который можно считать самым блистательным актом всей мировой дипломатии... Это был подлинный шедевр! Белград с тонкими огорками принял девять пунктов ультиматума. И не принял только десятого пункта, в котором Вена требовала силами австрийских войск навести «порядок» на сербской территории. Венский посол мельком глянул на ноту, увидел, что там что-то не принято, и... потребовал паспорта. У них все уже было готово к отъезду: багаж увязан, архивы заранее упакованы. Вечером австрийская миссия покинула Белград, а это означало разрыв отношений...

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны.

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

* * *

26 июля... Сазонов жаловался Палеологу:

– Неужели события уже вырвались из наших рук и мы, дипломаты, больше не можем управлять политикой? Петербург еще в силах уговорить австрийцев, но... подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия. Больше уступать нельзя! Уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы и скатится в болото держав второстепенных... У нас тоже есть самолюбие!

В этот день царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, дабы внушить стране мысль о своем единении с народом. Было много речей, много слез и ликований. Но встала и покинула зал заседаний фракция социал-демократов, которая имела смелость по-ленински твердо выступить против войны. «Эта война, – говорили думцы-ленинцы в своей декларации, – окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений, от которых они страдают, и... теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой!»

* * *

27 июля... Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависавший над галстуком-бабочкой. Он еще был способен предвидеть события. Но уже не мог управлять ими. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имели значение, – это золотое время дипломатии кончилось... В кабинет министра ломилась яростная толпа журналистов. «Что им сказать? Я уже сам ничего не знаю...»

Он долго кашлял, потом сказал:

– Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию – этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти нам мир.

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было...

* * *

28 июля... Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

– Еще день-два, – сказал Палеолог немцу, – и, если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Если ваше правительство столь миролюбиво, как об этом оно не раз заявляло, так окажите воздействие на Австрию.

– Я призываю бога в свидетели, – отвечал Пурталес, за-жмурившись, – что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляли силой. История покажет, что Германия всегда права.

– Очевидно, – пикировал Палеолог, – положение очень дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории...

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову, а в приемной министра появляется австрийский посол Сапари.

– Можете ли вы сообщить, что происходит?

– Коляска катится, – прищелкнул пальцами Сапари.

– Это уже из Апокалипсиса, – ответил ему Бьюкенен...

Сазонов признался Палеологу, что ему стало трудно сдерживать горячку Генштаба: там боятся опоздать с мобилизацией. Пуанкаре еще плыл во Францию на дредноуте, и Палеолог не имел с ним связи. Он, как и Бьюкенен, умолял Сазонова не давать повода Германии для активных действий.

– Немцы уже мобилизуются! – отвечал Сазонов. – А мы еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплеываем, как франты...

Кайзер (с большим опозданием) ознакомился с ответом Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался и даже признал:

– Это вполне достойный ответ. Если б я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным...

Вильгельм II посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда и сразу же начать мирные переговоры с сербами. Белград в те времена лежал на самой черте границы с Австрией (его отделяла от Австрии только река Сава). Совет кайзера запоздал: австрийцы уже понаставили на берегу Савы батареи и по телеграфу передали сербам объявление войны... Но еще никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

* * *

29 июля... Пурталес пришел к Сазонову и зачитал ему наглое требование германского рейхсканцлера, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола – весь в ярости:

– Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима... Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню...

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

– Я протестую против неслыханного оскорбления...

На стол министра легла свежая телеграмма: австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают жители.

– Первая кровь наша, славянская, – сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Палеолога об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится нужда в ее необходимости...» Вечером генерал Добророльский прибыл на Главпочтамт, имея на руках указ царя о всеобщей мобилизации. Всю публику из здания попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добророльский, поглядывая на часы, взволнованно гулял по каменному полу почтамта. Остались считанные минуты, и вся Россия оцетинится штыками... Звонок! Вызывали его к телефону. Говорил Сухомлинов:

– Отставить передачу указа! Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что сделает все для улаживания конфликта... Мобилизация возможна лишь частичная!

Император принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

* * *

30 июля... «Не стройте крепостей – стройте железные дороги», – завещал Мольтке-старший своему племяннику Мольтке-младшему, который стоял сейчас во главе германской военной машины. Одно дело – мобилизация в России, другое – в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщей – об этом и рассуждали... Сазонов сказал Шантеклеру:

– Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич.

– Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России...

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

– Не вешайте трубку... здесь и Сазонов!

Тихо свистнув в аппарат, царь сказал:

– Хорошо. Давайте мне Сазонова.

Сазонов настоял на срочной с ним аудиенции, царь согласился принять его. Но до отъезда в Петергоф он повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого, который пробормотал ему:

– Я должен что-то сообщить Берлину, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать мне, что я могу предложить своему правительству.

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке: «ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-СЕРБСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕ-ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ...» Он вручил запись Пурталесу.

– Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

– Благодарю, – с мрачным видом отвечал посол.

Потом министр отъехал в Петергоф, где его поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что приостановкой общей мобилизации расшатывается вся военная система, графики трещат, военные округа запутаются. Война, говорил министр, вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку... Николай II ответил ему:

– Вилли ввел меня вчера в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму... угрожающую! Он пишет, что снимает с себя роль посредника в споре, и, – прочитал царь далее, – «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир»!

Сазонов разъяснил, что кайзер только затем и взял на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут с вами балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

– А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

– Дипломатия свое дело сделала, – отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

– Позвоните Янушкевичу... пусть будет общая!

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

– Начинайте, – сказал он, и тот его понял...

Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. Еще и поддал по аппарату сапогом.

– Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы повлиять на события. Меня нет – я умер!

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну!

* * *

31 июля... На улицах, хотя еще никто и никого не победил, уже кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», – оправдывался Николай II, на что кайзер тут же ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир...» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел

ярчайшую историческую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда явился Пурталес.

Сазонов понял – важное сообщение. Он встал.

– Если к двенадцати часам дня первого августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, – сказал ему посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

– Означает ли это войну? – спросил небрежно.

– Нет. Но мы к ней близки...

Часы пробили полночь. Пурталес вздрогнул:

– Итак, завтра. Точнее, уже сегодня – в полдень!

Сазонов замер посреди кабинета. На пальце вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал.

– Я могу сказать вам одно, – заметил он спокойно. – Пока останется хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда и ни на кого не нападет... Агрессором будет тот, кто нападет на нас, а тогда мы будем защищаться! Спокойной ночи, посол.

10. «Побольше допинга!»

Настало 1 августа... Утром кайзер накинул поверх нижней рубашки шинель гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где население никак их не ждало. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию... Пурталес спросил:

– Прекращаете ли вы свою мобилизацию?

– Нет, – ответил Сазонов.

– Я еще раз спрашиваю вас об этом.

– Я еще раз отвечаю вам – нет...

– В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи принимает вызов...» Это было архиглупо!

– Можно подумать, – усмехнулся Сазонов, – мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия, вы знаете, не начинала войны. Нам она не нужна!

– Мы защищаем честь, – напыжился граф Пурталес.

– Простите, но в этих словах – пустота...

Только сейчас Сазонов заметил, что Пурталес, пребывая в волнении, вручил ему не одну ноту, а... две! За ночь Берлин успел снабдить посла двумя редакциями ноты для вручения Сазонову одной из них – в зависимости от того, что он скажет об отмене мобилизации. Черт знает что такое! Пурталес допустил чудовищный промах, какой дипломаты допускают один раз в столетие.

Объявив России войну, Пурталес сразу как-то ослабел и поплелся, шаркая, к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже и ниже, пока его лоб не коснулся подоконника. Пурталеса буквально сотрясало в страшных рыданиях. Сазонов не сразу подошел к нему, хлопнул его по спине.

– Взбодритесь, граф. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил его в свои объятия.

– Мой дорогой коллега, что же теперь будет?

– Проклятие народов падет на Германию.

– Ах, оставьте... при чем здесь мы с вами?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра в 8 часов утра будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков... В четыре часа ночи его разбудил Сазонов, говоривший по телефону из министерства:

– Кажется, нам никак не расстаться. Дело вот в чем. Наш государь только что получил очередную телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы русские войска ни в коем случае не переступали германской границы. Я никак не могу уложить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой стороны, эта же Германия просит нас не переступать границы...

– Этого я вам объяснить не могу, – ответил Пурталес.

– В таком случае извините. Всего вам хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались...

В эти дни в Германии застрелился близкий друг детства кайзера – граф фон Швейниц. Он был таким же русофилом в Германии, каким П. Н. Дурново был германофилом в России. Самые умные монархисты Берлина и Петербурга отлично понимали, что в этой войне победителей не будет – всех сметут революции! В 1914 году все почему-то были уверены, что революция начнется в Германии...

* * *

– Побольше допинга! – восклицал Сухомлинов. – Германия – это лишь бронированный пузырь. Моя Катерина просто кипит! В доме сам черт ногу сломает! Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты... Лозунг наших великих дней: все для фронта! Все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а дядя Николаша назначен верховным главнокомандующим. Петербург уже давно не ведал такой адской жарыщи, а Янушкевич уже завелся о валенках и полушубках.

– Помилуйте, с меня пот льет. Какие валенки?

– Еще подков с шипами. На случай гололедицы.

– Да мы через месяц будем в Берлине! – отвечал министр...

На Исаакиевской площади озверевшая толпа громила германское посольство – уродливый храм «тевтонского духа», к проектировке которого приложил руку и сам кайзер, за все бравшийся. С крыши летели на панель бронзовые кони буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, рубила старинную мебель, под ломами дворников с хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса...

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьем криком багрима:
«Отравим кровью воды Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

Масса русских семейств, отдохавших на германских курортах, сразу оказалась в концлагерях, где их подвергали таким гнусным издевательствам, которые лучше не описывать. Берлин упивался тевтонской мощью, немецкие газеты предрекали, что это будет война «четырех F» – frisher, frommer, fro. licher, freier (война освежающая, благочестивая, веселая и вольная).

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

– Еще до осеннего листопада вы вернетесь домой...

Сухомлинов, как и большинство военных того времени, тоже верил в молниеносность войны. Скоро из Берлина в составе русского посольства вернулся военный атташе полковник Базаров; в министерстве он попросил дать ему свои отчеты с 1911 по 1914 год.

– Читал ли их министр? Я не вижу пометок.

– Подшивали аккуратно. Но... не читали.

Базаров отшвырнул фолиант своих донесений.

– Это преступно! – закричал он, не выбирая выражений. – На кой же черт, спрашивается, я там шпионил, вынюхивал, подкупал, тратил тысячи? Я же предупреждал, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые...

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Маршировала русская гвардия – добры молодцы, кровь с молоком, кося сажень в плечах, – они были воспитаны на традициях погибать, но не сдаваться... Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

И поистине светло и свято

Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...

Сухомлинов названивал в Генштаб – Янушкевичу:

– Ради бога, побольше допинга! Екатерина моя кипит... Такие великие дни, что хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разочек в жизни поживет как Ротшильд.

– Владимир Александрыч, – отвечал Янушкевич, – люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят по сорок восемь часов. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски – требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхте руссен»! А наша воздушная разведка...

– Ну что? Здорово наавиатили?

– А наша артиллерия...

– Небось наснарядили? Дали немчуре жару?

– Я кончаю разговор. Неотложные дела.

– Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с ужасом узнавших из газет о введении сухого закона и спешивших напоследки надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказать внукам: «А то вот помню, когда война началась... у-у, что тут было!» Мерно и четко шагала железная русская гвардия. Под грохот окованных сапог кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали...

Вздувается у площади за ротой рота,
У злящейся на лбу вздуваются вены.
Постойте, шашки о шелк кокоток
Вытрем, вытрем в бульварах Вены!

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

– Господи, спаси императора Николая...

– Господи, спаси короля Британии...

– Господи, спаси Французскую Республику...

Литавры гремели не умолкая, и дождем хризантем покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавшихся сейчас солдат «на Берлин!», через три года будет кричать: «Долой войну!» А газетчики надрывались:

– Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил! Наши войска захватили парадный мундир императора Франца-Иосифа...

Звонок.

«Что вы, мама?»

Белая-белая, как на гробе газет.

«Оставьте!»

О нем это,

Об убитом телеграмма.

Ах, закройте,

Закройте глаза газет».

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

– Умоляем... спасите честь Франции!
Август 1914 года. Битва на Марне. Немцы перли на Париж.

* * *

Август четырнадцатого – героическая тема нашей истории, если наше прошлое правильно понимать... Об этом писали, пишут и еще будут писать. Известно, что русская армия мобилизовывалась за сорок дней, а германская за семнадцать (это понятно, ибо русские просторы не сравнить с немецкими). Далее следует чистая арифметика:

$$40 - 17 = 23.$$

За эти двадцать три дня кайзер должен успеть, пройдя через Бельгию, поставить Францию на колени, а потом, используя прекрасно работающие дороги, перебросить все свои силы против русской армии, которая к тому времени только еще начнет собираться возле границ после мобилизации. Антанта потребовала от Петербурга введения в бой наших корпусов раньше сроков мобилизации, дабы могучий русский пластырь, приставленный к Пруссии, оттянул жар битвы на Марне в дикие болота Мазурии... Читателю ясна подоплека этого дела!

А речь идет о знаменитой армии Самсонова.

«Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего достоверного не знает». Наши энциклопедии подтверждают это: «Погиб при невыясненных обстоятельствах (по-видимому, застрелился)». Для начала мы разложим карту... Вот прусский Кенигсберг, а вот польская Варшава; если между ними провести линию, то как раз где-то посередине ее и находится то памятное место, где в августе 1914 года решалась судьба Парижа, судьба Франции, судьба всей войны.

11. Зато Париж был спасен

Александр Васильевич Самсонов был генерал-губернатором в Туркестане, где осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительный канал. Он был женат на красивой молодой женщине, имел двух маленьких детей. Летом 1914 года ему исполнилось пятьдесят пять лет. Вместе с семьей, спасаясь от ташкентской жары, генерал кавалерии Самсонов выехал в Пятигорск – здесь его и застала война...

Сухомлинов срочно вызвал его в Петербург:

– Немцы уже на подходах к Парижу, и французы взывают о помощи. Мы должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию – на Кенигсберг! Вам дается Вторая армия, которая от Польши пойдет южнее Мазурских болот, а Первая армия двинется на Пруссию, обходя Мазурию с севера. Командовать ею будет Павел Карлович Ренненкампф.

– Нехорошее соседство, – отвечал Самсонов. – Мы друг другу руки не подаем. В японской кампании, когда шли бои под Мукденом, я повел свою лаву в атаку, имея соседом Ренненкампфа. Я думал, он поддержит меня с фланга, но этот трус всю ночь просидел в гальюне и даже носа оттуда не выставил...

– Ну, это пустое, батенька вы мой!

– Не пустое... После атаки я пришел к отходу поезда на вокзал в Мукдене, когда Ренненкампф садился в вагон. В присутствии публики я исхлестал его нагайкой... Вряд ли он это позабыл!

Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ожидали, что германская армия захватит Париж... Всю ночь стучал телеграф: французское посольство успокаивало Париж, что сейчас положение на Марне изменится – Россия двумя армиями сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии!.. Россия не «задавила немцев количеством». Факты проверены: кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа вступил в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ: «Отойду, когда русские будут разгромлены». Отойти не удалось – бежали, бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа нахвастал по радио о своей будущей победе над русскими. «Ах, так?..» – и немецкие генералы погнали солдат в атаку «густыми толпами, со знаменами и пением». Немцы пишут: «Перед нами как бы разверзся ад... Врага не видно. Только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день полного разгрома германской армии, а в летопись русской боевой славы вписывалась новая страница под названием ГУМБИНЕН! Черчилль признал: «Очень немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа...» Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II:

– Притвица и Франсуа в отставку, – повелел он.

Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев закрыть двери квартир и магазинов; на плитах кухонь еще кипели кофейники. А стены домов украшали яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках; длинные волосы сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых пастей торчали клыки, будто кинжалы, а глаза – как два красных блюдца. Под картинками было написано: «Это русский! Питается сырым мясом германских младенцев»... На бивуаке в ночном лесу Самсонов проснулся оттого, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского голоса. Конвойные казаки поднимались с шинелей.

– А поёт лихо. Пойтить да глянуть, што ли!

Светила луна, на поляне они увидели германского офицера с гладко бритым, как у актера, лицом, который хорошо поставленным голосом изливал свою душу в оперной арии.

– Оставьте его, беднягу, – велел Самсонов казакам. – Он, видимо, не перенес разгрома своей армии... Бог с ним!

Париж и Лондон умоляли Петербург – жать и жать на немцев, не переставая; из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, носились автомобили; обвешанные аксельбантами генштабисты чуть ли не в спину толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас – вперед!» Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество: Ренненкампф после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк...

– Словно сдох! – выразился Самсонов. – Боюсь, как бы он не повторил со мной штуки, которую выкинул под Мукденом.

* * *

Оказывается, в германских штабах знали о столкновении двух генералов на перроне мукденского вокзала – и немцы учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Франсуа и Притвица кайзер подыскивал замену... Он говорил:

– Один нужен с нервами, другой совсем без нервов!

Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами), Гинденбурга из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле границы, образовав страшную пробку за Млавой.

– Если пробка, – сказал Самсонов, – пускай сбрасывают вагоны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны...

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не имеется. Солдаты шагали через глубокие пески – по двенадцать часов в день без привального роздыха. «Они измотаны, – докладывал Самсонов. – Территория опустошена, лошади давно не ели овса, продовольствия нет...» Армия заняла Сольдау: из окон пучками сыпались пули, старые прусские мегеры с балконов домов выплескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и камнями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен превосходно! Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, переодетых в пасторские сутаны, а чаще всего – в женское платье. Многих разоблачали. «Но еще больше не поймано, – докладывали в Генштаб из армии. – Ведь каждой женщине не станешь задирать юбки, чтобы проверить их пол...» Самсонов карманным фонарем освещал карту.

– Но где же этот Ренненкампф с его армией?

Первая армия не пошла на соединение со Второй армией; Людендорф с Гинденбургом сразу же отметили эту «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа; Самсонов оказался один на один со всей германской военщиной, собранной в плотный кулак... Гинденбург с Людендорфом провели бессонную ночь в деревне Танненберг, слушая, как вдали гроыхает клубок боя. Им принесли радиограмму Самсонова, которую удалось раскодировать. Людендорф подсчитал:

– Самсонова от Ренненкампфа отделяет сто миль...

Немцы начали отсекал фланговые корпуса от армии Самсонова, а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдвигать центр армии вперед – два его корпуса ступили на роковой путь! Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, здесь еще не все ясно. Из Мазурских болот до нас дотянулись слухи, что поначалу Самсонова в окружении не было. Но, верный долгу, он верхом на лошади проскакал под пулями в «мешок» своей окруженной армии. При этом он якобы заявил штабистам: «Я буду там, где мои солдаты...»

Курсировавшие по рельсам бронеплатформы осыпали армию крупнокалиберными «чемоданами». Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберман-пинчеров (натасканных на ловле преступников), рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких лагерях появились первые пленные, которых немцы кормили бурдой из картофельной шелухи, а раненым по пять-шесть дней не меняли повязок. «Вообще, – вспоминал один солдат, – немцы с нами не церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». Раненый офицер К., позже бежавший из плена, писал: «Пруссаки обращались со мной столь бережно, что – не помню уж как – сломали мне здоровую ногу... Во время пути они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить „русскую собаку“, другой – растоптать каблуками мою физиономию, третий – повесить...» Людендорф беседовал с пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском языке:

- Где ваш генерал Самсонов?
- Он остался с армией.
- Но вашей армии уже не существует.
- Армия Самсонова еще сражается...

В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах встреченная броневиками, под огнем тяжелой крупновской артиллерии, русская армия не сдавалась – она шла на прорыв! Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и героизма русских воинов... По ночам, пронизав тьму леса прожекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! Гинденбург с Людендорфом (оба уже с нервами!) признали открыто, что русский солдат стоек необычайно. Германские газеты тогда писали: «Русский выдерживает любые потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него уже неизбежной».

Самсонов, измученный приступом астмы, выходил из окружения пешком, спички давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса; солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться; среди них шагал и Самсонов. «В час ночи он отполз от сосны, где было темнее. В тишине шелкнул выстрел. Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли». Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до народа; еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных, где он, переодетый в гимнастерку, выдавал себя за солдата. Вдова его, Екатерина Александровна Самсонова, под флагом Красного Креста перешла линию фронта, и немцы (весьма любезно) показали ей, где могила мужа. Она узнала его лишь по медальону, внутри которого он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину. Александр Васильевич был погребен в селе Егоровка Херсонской губернии... В одной из первых советских книг, посвященных гибели его героической армии, сказано с предельной четкостью: «Над трупом павшего солдата принято молчать – таково требование воинской этики, и никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил!»

* * *

Задолго до начала этой войны Фридрих Энгельс пророчески предвидел ее. «И, наконец, для Пруссии-Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиства, как никогда еще не объедали тучи саранчи». Энгельс предсказывал, что в конце этой бойни короны цезарей покатаются по мостовым и уже не сыщется охотников их подбирать... Так оно и было: первая мировая война расшатала престолы – по мостовым Петер-

бурга, Берлина и Вены, громяхая по булыжникам, катились короны Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов...

В битве народов, длившейся четыре года, один погибший приходился на 28 человек – во Франции, в Англии – на 57 человек, а Россия имела одного убитого на 107 человек. Прорыв армии Самсонова заранее определил поражение Германии, и те из немцев, кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить не сможет... Ныне гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной истории: мужество наших солдат спасло Париж, спасло Францию от позора оккупации! Немцы проиграли войну не за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот – еще в августе 1914 года! Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Сегодня наши историки пишут: «Восточнопрусская операция стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспечения общесоюзической победы...»

Так строится схема исторической справедливости.

Других мнений не может быть!

Финал пятой части

Концлагерь в Пруссии для военнопленных. Среди прочих, взятых в плен под Сольдау, находился и поручик Колаковский. С неба сыпал снежок, было зябко и постыло; на помойной яме ковырялись голодные солдаты и, хрюпая кочерыжки турнепса, рассуждали:

– Это уж так! У нас дома помойка, так – мама дорогая, жить можно. А с немецкой помойки ворона и та с голодухи околеет...

Колаковский шагнул к колючей проволоке.

– Я хочу видеть ваше немецкое начальство.

– Зачем? – спросил часовой.

– У меня важное сообщение...

Лагерному начальству он заявил, что по убеждениям является мазепинцем, ратуя за освобождение Украины от гнета москалей, верит в то, что Украина не только даст миру территории сала и цистерны горилки, но и снабдит Европу глубоким интеллектом Пелипенок и Федоренок. Лагерная машина увезла его в Аллештейн, где с Колаковским долго беседовал, прощупывая его, капитан германской армии Скопник (из галицийских украинцев). Убедясь, что ненависть Колаковского к русским не имеет предела, Скопник отправил мазепинца в Инстербург, а там его взял в обработку опытный агент германского генштаба Бауэрмейстер, который говорил по-русски, как мы с вами, читатель... Шнапс был берлинский, а сало на закуску, естественно, хохлацкое (толщиной в пять пальцев).

– Я коренной петербуржец, – сказал немец за выпивкой. – Мое ухо не выносит нового имени Петроград, от такого русифицирования столица лучше не станет. Моя мамочка умерла в Питере, а мой брат пал за будущее Германии и... вашей Хохландии!

– Прозит, – отвечал Колаковский, чокаясь.

Подвыпив, Бауэрмейстер с мазепинцем «спивали»:

Распрягайте, хлопцы, коней
та лягайте почивать,
а я пойду в сад зелений,
в сад криниченьку копать...

Бауэрмейстер сказал, что свой глубокий интеллект Пелипенки и Федоренки могут развивать до нескончаемых пределов только под благодатной тенью, которую дает штык германского гренадера.

– Даже если вам удастся обрести автономию, вам без нашего брата Фрица делать не хера, ибо Россия сразу придушит вас!

– Какие могут быть сомнения? – отвечал Колаковский. – Я ведь не маленький, сам понимаю, что дважды два – четыре...

Договорились. Бауэрмейстер существенно дополнил:

– Много лет мы работаем ноздря в ноздю с одним вашим полковником – и ему хорошо, и нам не вредно... В Вильне есть такой шантанчик Шумана, где бывает (запомните!) мадам Столбина, любовница этого полковника... Там и встретитесь!

Поручик спросил, когда его переправят в Россию.

– Вы нужны не здесь, а в России, потому задержки не будет. Сейчас у нас готовят большую партию пленных для обмена на наших. Жаль, что у вас руки-ноги целы – отправили бы еще раньше...

Затем он развернул перед поручиком такую заманчивую картину жизни русского полковника, работавшего на кайзера, что Колаковскому стало не по себе. Доверясь пленному, Бауэрмейстер, дабы умалить его страхи перед расплатой, сказал:

– Чепуха! У меня мамочка до войны (даже мамочка!) не раз провозила из России в Германию важные секретные бумаги. Правда, что этот полковник, о котором я говорил, служил тогда как раз на границе в Вержболове жандармским начальником...

Был уже декабрь 1914 года, когда после длительного пути (морем в Швецию, оттуда через Финляндию) прибыла в Петербург большая партия пленных, в основном калеки – на костылях. Встреча их на Финляндском вокзале была небывало торжественная. Гремели духовые оркестры, произносились речи, дамы дарили цветы, инвалидов закармливали обедами в вокзальном ресторане. Колаковский, зажав под локтем небольшой пакетик с «личными вещами», прошел по Невскому, дивясь тому, что жизнь столицы шумела, как в мирные дни (только поубавилось пьяных). Возле подъезда Главного штаба он сказал дежурному офицеру:

– Я поручик Двадцать третьего Низовского пехотного полка Яков Колаковский, вырвался из плена германского, имею очень важное для страны сообщение... Доложите обо мне кому следует.

Офицер приветливо шелкнул каблуками: «Прошу вас...» Через лабиринт коридоров и лестниц Колаковский следовал в отдел контрразведки, которая сидела на горах ценных материалов и всякого хлама, не брезгуя иногда услугами даже таких подонков, как Манасевич-Мануйлов... Колаковского выслушали, но решили проверить:

– Повторите, пожалуйста, то место своих показаний, где вы рассказали о том, что брат Бауэрмейстера погиб на фронте.

Колаковский повторил. Его арестовали.

Питерскую квартиру Бауэрмейстеров во время войны берегла их гувернантка Сгунер; в эту же ночь к ней нагрянули с обыском. Нашли то, что надо. Бауэрмейстеры через шведскую почту известили гувернантку о том, что их третий брат пал смертью храбрых на русском фронте. Таким образом, подтвердилось показание Колаковского. За него взялся глава контрразведки генерал М. Л. Бонч-Бруевич (позже генерал-лейтенант Советской Армии, родной брат известного большевика-ленинца).

– Итак, – сказал он, – вы прибыли, чтобы взорвать мост под Варшавой и устроить покушение на главковерха. Нас больше интересует этот полковник... вам назвали его фамилию?

– Мясоедов! Я о нем до этого ничего не слышал, и Бауэрмейстер в разговоре даже упрекнул меня: «Что ж вы, газет не читаете? Такой шум был, Мясоедов даже с Гучковым стрелялся, а Борьке Суворину в скаковом паддоке ипподрома морду при всех намылили...»

– Значит, Мясоедов... Ну что ж. Превосходно.

* * *

Когда вдова Самсонова перешла через фронт, дабы узнать о судьбе мужа, вместе с нею увязался в эту рискованную поездку и Гучков, постоянно прилипавший ко всяким военным неприятностям. Немцы, конечно, знали о роли Гучкова в Думе, и его переход линии фронта был обставлен должными формальностями. Возле проволочных заграждений лидера партии октябристов поджидал патруль во главе со штабным обер-лейтенантом... Морозило. Жестко скрипел снег. Обер-лейтенант неожиданно спросил по-русски:

– Александр Иваныч, а вы меня не узнали?

– Нет. Я вас впервые вижу.

– Конечно, – сказал немец, – военная форма очень сильно изменяет облик человека. Но я вас знаю. Хорошо знаю.

Говорил он без тени акцента, как прирожденный русак, и Гучков спросил – жил ли он в России? Офицер засмеялся:

– Конечно же! Я состоял на службе в вашем эм-вэ-дэ.

– Кем же вы были?

– О-о! Я был в охране Гришки Распутина, и он-то, конечно, сразу же признал бы меня... даже в этой шинели. Я ведь частенько бывал и в Думе, помню ваше выступление в защиту немцев-колонистов Поволжья и Крыма... Мало того, мы с вами лично знакомы!

Гучков – хоть убей – никак не мог вспомнить.

– Простите, а кто же нас знакомил?

– Борис Владимирович Штюмер.

– Пожалуйста, напомните подробности.

Обер-лейтенант не стал делать из этого тайны:

– Это было в разгар июльского кризиса, на квартире Штюмера на Большой Конюшенной... У вас в Думе накануне было закрытое заседание комиссии по обороне. Вопрос касался, если не ошибаюсь, запаса снарядов для Брест-Литовской крепости. Штюмер представил меня вам как иностранного журналиста.

– Выходит, я при вас излагал секретные дела?

– Что подделаешь! – засмеялся немецкий офицер. – Вы же были уверены, что я русского языка не знаю, а Штюмеру, очевидно, было неловко выдавать меня за агента охраны Гришки Распутина...

Прощаясь с Гучковым, обер-лейтенант спросил:

– Вы будете публиковать о нашей беседе?

– Что вы! Не дай-то бог, если Россия узнает...

– Всего доброго, – протянул немец руку.

– И вам так же, – отвечал Гучков, пожимая ее.

Эта история все-таки была предана гласности!

* * *

Янушкевич, побывав в Ставке, навестил Сухомлинова.

– Порнографией не интересуетесь? – спросил он.

У самого носа министра очутилась карточка голой женщины, с бокалом вина лежащей в постели. Сухомлинов с радостью узнал свою знакомую – графиню Магдалину Павловну Ностиц.

– Подозревается в шпионаже, – облизнулся Янушкевич.

– Но почему она у вас голая?

– Другой фотографии в архивах не нашли. А эту отняли у... Впрочем, не буду называть. Важно, что он ее «употребил». А вчера на Суворовском (дом № 25) арестовали двух дамочек, которые принимали у себя гостей не ниже генерал-майора. Арестовывал их полковник, так они не хотели его даже пускать.

– Что они так разборчивы? – спросил Сухомлинов.

– Шпионки! Им сам бог велел разбираться в чинах.

– А к чему вы меня интригуете?

– Я не интриган, – сказал Янушкевич, интригуя. – Просто вам следует знать, если не как министру, то хотя бы как мужу...

– Ну... бейте! – отчаялся Сухомлинов.

– Арестованные дамы были подругами вашей Екатерины Викторовны, которая часто навещала их квартиру на Суворовском...

– Тьфу!

Янушкевич суетился не зря: креатура главковерха великого князя Николая Николаевича, он уже начал активную кампанию по смещению Сухомлинова с поста военного министра.

Уходя, он добавил:

– А ваш бывший адъютант опять отличился...

– Кто?

– Да этот пройдоха Мясоедов.

– А при чем здесь я? – возмутился Сухомлинов. – Сразу как началась война, он появился у меня с прошением. Мол, примите на службу. Готов пролить кровь. До последней капли. И так далее. Ну, я сказал: обычным путем, голубчик... На этот раз устраивайтесь без моей протекции. Вот он и служит. А что с ним?

– У меня был корреспондент газеты «Таймс» Уилтон... Ехал он в Варшаву, в вагоне-ресторане к нему подсел какой-то полковник с пенсне на носу. Ну, ясное дело, разговорились. Полковник сразу стал крыть на все корки... кого бы вы думали?

– Не знаю.

– Вас.

– Меня?

– Да... Уилтон на первой же станции позвал с перрона жандарма и говорит, что один русский полковник – явно германский шпион, ибо русский не стал бы так лаять своего военного министра. Полковника арестовали, выяснилось – Мясоедов!

– Ну и что?

– А ничего. Извинились. И он поехал дальше.

Часть шестая. Пир во время войны (Осень 1914-го – осень 1915-го)

Хищники, воры, предатели, мародеры, изменники, развратники, пьяницы... Все смешалось и закружилось в ночи русской политической реакции, праздновавшей свой последний праздник перед тем, как исчезнуть с лица земли русской.

Леонид Андреев

Прелюдия к шестой части

В канун войны один наш историк сидел как-то в садике у Донона за обедом и «слышал за ближайшим трельяжем громкий смех и чей-то голос, принадлежавший по оборотам и акценту, очевидно, не только какому-то дремучему еврею, но и человеку явно неграмотному. Субъект этот, оказавшийся Аароном Симановичем, рассказывал историю своей жизни», не забывая держать напоказ оттопыренный палец, чтобы все видели в его перстне бриллиант в пятнадцать каратов.

– Что делать бедному еврею, если Россия начала войну с Японией? Я закрыл в Киеве лавку по скупке подержанных вещей и купил сразу два сундука карт. По дороге на войну, до самого Иркутска, я подбирал заблудших красавиц и на каждой крупной станции фотографировался с ними в элегантных позах. Что нужно воину на фронте? Водки он и сам себе добудет. Ему нужны карты и женщины. Я обеспечил господ офицеров покером, интересными открытками и хорошим борделем. Не скрою – разбогател... Но... дурак я был! Решил честно играть в «макаву» и спустил целый миллион.

– А чем же сейчас занимаетесь? – спросили его.

– Ювелир... придворный ювелир!

– Как же вы, еврей, проникли ко двору?

– Моя жена была подругой детства графини Матильды Витте, а царица покупает бриллианты только у меня... Как? А вот так. Допустим, камень у Фаберже стоит тысячу. Я продаю за девятьсот пятьдесят. Царица звонит по телефону Фаберже, а тот говорит, что Симанович продешевил... Ей приятно. Мне тоже.

– Какая же вам-то выгода?

– Навар большой. Вот царица. Вот бриллиант. Вот я...

– А на что же вы тогда живете, если камень обходится вам в тысячу, а продаете царице себе в убыток?

Симанович обмакнул губы в бокал с красным вином.

– Я играю... наперекор судьбу!

Это «наперекор судьбу» развеселило компанию, а историка поразила «полная атрофия возмущения» слушателей: в их присутствии оскорблялась русская армия, умиравшая на полях Маньчжурии, а никто из них не догадался треснуть «поставщика ея величества» по его нахальной фарисейской роже... Лакей шепнул историку:

– Это секретарь и приятель Гришки Распутина.

Так эти два имени, имя Распутина и имя Симановича, прочно сцепились воедино. А что их соединяло?

* * *

Еврейский народ дал миру немало людей различной ценности – от Христа до Азефа, от Савонаролы до Троцкого, от Спинозы до Бен-Гуриона, от Ламброзо до Эйнштейна... Да, были среди евреев великие философы-свободолюбцы, и были среди них великие палачи-инквизиторы. Русское еврейство могло гордиться революционерами, художниками, врачами, учеными и артистами, имена которых стали нашим общим достоянием. Но это лишь одна сторона дела; в пресловутом «еврейском вопросе», который давно набил всем оскомину, была еще изнанка – сионизм, уже набиравший силу. Сионисты добивались не равноправия евреев с русским народом, а исключительных прав для евреев, чтобы – на хлебах России! – они жили своими законами, своими настроениями. Не гимназия была им нужна, а хедер; не университет, а субботний шабаш. Сионизм проповедовал, что евреям дарована «вечная жизнь», а другим народам – «вечный путь»; еврей всегда «у цели пути», а другие народы – лишь «в пути к цели». Раввины внушали в синагогах, что весь мир – это лестница, по которой евреи будут всходить к блаженству, а «гои» (неевреи) осуждены погибать в грязи и хламе под лестницей... Вот страшная философия! Сионизм, кстати, никогда не выступал против царизма, наоборот, старался оторвать евреев от участия в революции, и потому главные идеологи еврейства находили поддержку у царского правительства. Единственное, в чем царизм мешал еврейской буржуазии, так это воровать больше того, нежели они воровали. А воровать и спекулировать они были большие мастера, и тут можно признать за ними «исключительность»... Из поражения первой революции евреи вынесли очень тяжелый багаж: разрыв Бунда с ленинской партией РСДРП(б), замкнутость и нетерпимость к неевреям, кустарный подход к революции, ставка на свое «мессианство», кружки местечковой самообороны (та же «черная сотня», только еврейская!), масса жаргонной литературы и усиленная эмиграция. Царизм в эти годы был озабочен не столько тем, что евреи заполняют столичные города, сколько тем, что евреи активно и напористо захватывают банки, правления заводов, редакции газет и адвокатские конторы.

От взоров еврейской элиты, конечно же, не укрылось всерастущее влияние Распутина на царскую семью, и они поняли, что, управляя Распутиным, можно управлять мнением царя. Аарон Симанович вполне годился для того, чтобы стать главным рычагом управления: он признал израильскую программу Базельского конгресса, исправно платил подпольный налог – шекель и был полностью согласен с тем, что «этническая гениальность» евреев дает им право поработать другие народы. В этом же духе он воспитывал и своих сыновей; старший сын, Шима Симанович, учился в Технологическом институте и однажды проговорился среди студентов: «А мой папа фрак надел, с Распутиным опять в Царское Село поехал – чего-то насчет Думы хотят потрепаться...» Но студенты оказались не лишены чувства чести, как это случилось с публикой у Донона, и они надавали Шиме пощечин...

Недавно, в 1973 году, у нас писали: «Принято считать, будто царем и царицей управлял Распутин. Но это лишь половина правды. Правда же состоит в том, что очень часто Николаем II... управлял Симанович, а Симановичем – крупнейшие еврейские дельцы Гинцбург, Варшавский, Слиозберг, Бродский, Шалит, Гуревич, Мендель, Поляков. В этом сионистском кругу вершились дела, влиявшие на судьбу Российской империи». Знайте об этом!

* * *

Это было еще перед войной – Симановича призвали в кагал финансовой олигархии. Присутствовали миллионер Митька Рубинштейн, Мозес Гинцбург, разжиревший в 1904 году на поставках угля нашей порт-артурской эскадре, были барон Альфред Гинцбург – золотопромышленник, видный юрист Слиозберг, сахарозаводчик Лев Бродский (друг Сухомлинова по

Киеву), строители железных дорог Поляковы, держатели акций и ценных бумаг, раввины, издатели, банкиры и прочие воротилы. Сначала они спросили Симановича – как и при каких обстоятельствах он познакомился с Распутиным?

– Давно, еще в доме Милицы Николаевны, когда принес ей показать камни на продажу, Распутин был там... Потом встречался с ним в Киеве – как раз в дни убийства Столыпина.

– Как Распутин относится лично к тебе?

Симанович предъявил кагалу фотографию Распутина с его личной дарственной надписью «Лутшаму ис явреив».

– А как он относится к еврейскому вопросу?

– Он не понимает этого вопроса, но ему очень нравится, что мы всегда при деньгах. Он это уважает в людях!

Симановичу было сказано:

– Скоро будет война... Мы, иудеи, не имеем причин желать России победы в предстоящей войне с Германией, и чем позорнее будет поражение России, тем нам, иудеям, будет это приятнее. Мы сейчас затеваем великое дело, на которое нами жертвуются неслыханные суммы денег... Согласись помочь нам, и ты станешь богат, тебя запишут в еврейские памятные книги «пинкес», и твое имя да будет памятно во веки веков среди детей Израиля! Но ты можешь и погибнуть, – предупредили его. – Однако мы это предусмотрели. К тебе будет приставлена охрана из девяти вооруженных людей, которые станут сопровождать тебя всюду, где бы ты ни был, но они так ловки и опытны, что ты их даже никогда не заметишь...

Тут же было решено, что отныне Распутин тоже ставится под особую еврейскую охрану и все покушения на него должны отводиться сразу же, в чем должен помочь Симанович, которому вменялось неустанно следить за Гришкой и его окружением. Симанович запротоколировал слова барона Гинцбурга. «Ты имеешь прекрасные связи, – сказал он ему, – ты бываешь в таких местах, где еще никогда не ступала нога еврея. Бери же на помощь Распутина, с которым ты находишься в столь близких отношениях. Было бы грех не использовать такие обстоятельства. Возьмись за работу, и если ты сделаешься жертвой своих стараний, то вместе с тобою погибнет и весь (!) еврейский народ...» Странная речь, не делающая чести уму барона! Симанович задал кагалу насущный вопрос:

– Что конкретно я могу Распутину обещать?

– Что он хочет... наши средства колоссальны. Если понадобится, то откроются банки Чикаго и Лондона, Женева и Вены. А помимо денег ты обещаешь Распутину землю в Палестине и райскую жизнь до глубокой старости на средства нашей еврейской общины...

В конце совещания сионисты решили завлечь Распутина в гости, дабы выведать наглядно, не является ли Гришка замаскированным антисемитом. Такая встреча состоялась (еще до покушения Хионии Гусевой) в доме барона Гинцбурга, и если верить Симановичу, то при появлении Распутина все банкиры и адвокаты дружно плакали, жалуясь, что их, бедных (миллионеров!), притесняют. Ответные слова Гришки дошли до нас в такой форме:

– А вы куды смотрите? Ежели вас жмут, так подкупайте всех. Эвон, предки-то ваши: даже царей подкупали! Нешто мне вас уму-разуму учить? А я помогу... Ништо!

«После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть рядом с молодой и красивой женой Гинцбурга. Хозяин дома, который знал славу Распутина как бабника, очень просил меня, – вспоминал Симанович, – сесть между его женой и Распутиным... После встречи с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое расположение к евреям». Спору нет, Гришка сионистом не стал, а его полемика с антисемитами отныне строилась на прочной зубоврачебной основе (весьма существенной, если учитывать, что Гришка всю жизнь страдал зубами); он заводил речь так:

– А ты пломбы ставил? Ты зубы лечил?

– Ну, ставил. Ну, лечил.

- Небось сверлили тебе?
- Сверлили... страшно вспоминать.
- Пломбы-то держатся? Не вываливаются?
- Ну, держатся. А при чем здесь жида?

– А кто тебе сверлил? А кто пломбу ставил? Вить ежели всех жидов перебить, так мы совсем без зубов останемся...

Сионисты начали с того, что бесплатно вставили Распутину полный набор искусственных зубов.

– Такой великий и умный человек, – внушал ему Симанович, – не должен думать о деньгах. Зачем отвлекаться от государственных проблем? Только скажите – и деньги будут.

- А где возьмешь?
- Это уж мое дело...

Судьбы международных капиталов вообще запутанны. Но они трижды запутаннее, когда проходят через руки сионистов. Ибо деньги в этих случаях выносит наружу в самых неожиданных местах, словно они прошли через фановые глубины канализации. Распутин скоро обнаглел! Он поступал с евреями-банкирами как грабитель со случайными прохожими. Стало уже правилом, что, встречаясь на улице с Гинзбургом или Гинцбургом, Гришка бесцеремонно распахивал на них шубы, забирал бумажник, дочиста обчищал карманы, не забывая при этом оставить ограбленным один полтинничек.

– Это тебе на извозчика, чтобы до дому добрался...

Рубинштейн вскоре открыл на Марсовом поле контору, назначения которой никто не знал. Она ведала финансовым снабжением не самого Распутина, а лишь обслуживанием его окружения. Если кто просил у Гришки денег, он отсылал таких на Марсово поле.

– Идите к Митьке... он умный... он даст!

1. Все ставки на ставку

После заживления распоротого живота Распутин лишь 12 сентября вернулся из Сибири в столицу, где очень легко убедил царицу, что умудрился выздороветь лишь благодаря «божественному попечению». По сути дела, все решено без него! Война объяла Россию, и он, который всегда войны боялся, в туманных выражениях давал понять, что страну ожидают большие несчастья. Однако сухой закон Гришка от души приветствовал, а на «Вилле Родэ» ему подавали водку в чайнике, искусно загримированную от полицейского надзора под колер крепкого чая. Хлебнув из стакана, в который предусмотрительно была опущена чайная ложечка, Гришка говорил:

– Это хорошо, что прижали нашего брата. А то бы мы, грешные, совсем спились. Эта война, погоди, ишо поправит нам мозги!

В стране возникло неудобство двоевластия: Ставка иногда брала верх в решениях, подавляя своим авторитетом правительство, а порой и царя. Сразу же после возвращения Распутина в столицу Алиса сообщила мужу, что черногорки Милица и Стана хотят сделать главковерха царем в Польше или в Галиции. «Григорий, – писала она, – ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Н. играл какую-то роль...» Подначивать тоже надо уметь.

– Газетку нельзя раскрыть, – жаловался Распутин царице, – куды ни сунешься, везде «верховный», быдто на Николае свет клином сошелся. А царя опосля ево поминают...

Русская армия победно топала на Львовщину.

– Эка жмут! – говорил Распутин. – Похоже, что дядя Николаша и впрямь спешит стать царем галицийским...

Умом он понимал, что влияние Ставки на жизнь страны огромно, и телеграммой обратился к главковерху с просьбой разрешить ему побывать в Ставке; Николай Николаевич отбил ему ответ: «Приезжай – выпорю». Распутин не хотел верить, что его могут выпороть; он дал вторичную телеграмму, а главковерх вторично отвечал ему: «Приезжай – повешу»... И повесил бы! В Ставке размещался эшафот с виселицей, никогда не пустовавшей. Вешали без суда и следствия пойманных с поличным спекулянтов, мародеров, аферистов-поставщиков, интендантов, шпионов, дезертиров.

– Начну с маленьких, – говорил верховный, – авось и до главного упыря доберусь. Но прежде линчевания я буду лично пороть Распутина в столице на Марсовом поле, чтобы при этом непременно играл оркестр балалаечников Андреева, а синодского жида Саблера заставлю распевать при народе «аллилуйя»...

Большой силой в Петербурге стали посольства Англии и Франции – с их послами, влияние их отзывалось на оперативных планах русской армии. Гришка решил дать «руководящие указания» Палеологу, как следует вести себя Франции во время войны. Палеолог получил от него листок бумаги, угол которой был оборван; листок украшала абракадабра каких-то прерывистых линий.

– Расшифруйте, – сказал посол, – а заодно отдайте бумагу на анализ: я хочу знать, что здесь было оторвано...

Лаборатория посольства дала ответ: писано на бланке царского дворца, оторван угол с императорским гербом, из чего следует, что происхождение письма из Царского Села решили скрыть. Вскоре секретарь закончил работу, и Палеологу был предъявлен внятно изложенный текст распутинского поучения:

Давай бох по примеру жить расси
Оне укоризна страны
На примерь

нестожества
сей минут евит бох евленье
силу увидите рать силу небес победа
с вами и вас роспутин

После сложнейшей обработки текста с помощью словарей и психиатров дипломаты выяснили, что Распутин хотел сказать следующее: «Дай вам бог жить по примеру России, а не критикой нашей страны. Скоро бог явит силу. Французская армия победит».

– Сдайте в архив посольства, – велел Палеолог. – И уже пора заводить на Распутина досье...

В этом году за Гришкой установил пристальное наблюдение и российский Генштаб, анализируя его окружение, исследуя потаенные каналы его связей. Теперь Гришка был просвечен со всех сторон, словно вражеский дредноут, плывущий в гуле битвы под ослепительным блеском неприятельских прожекторов... Плыл в гибель!

* * *

В декабре военная мощь России стала замедлять ход, как усталый локомотив, из которого выпустили пар и воду. Военная игра в Киеве отрепетировала поражение Сухомлинова: воевать без патронов и снарядов нельзя – стой, армия! Зато, боже мой, как танцевала Малечка Кшесинская: тридцать два fouette подряд – без передышки... Читатель удивлен таким резким переходом от снарядного голода на фронте к балету, но я и сам удивлен не меньше. Дело в том, что артиллерией ведал великий князь Сергей Михайлович, точнее – Кшесинская, которая с ним сожительствовала (а заодно уж и с великим князем Андреем Владимировичем – менее чем с двумя «великими» не стоило ей и возиться!). Даже царица была возмущена. «Скоро ли Сергей будет смещен со своего поста? – писала она мужу. – Кшесинская опять в этом замешана – она вела себя, как m-me Сух., – брала взятки и вмешивалась в артиллерийское управление...» Сухомлинов, невзирая на ненависть, которую питал к нему главковерх, сидел на боевых доспехах нерушимо – как идол. Но царица (женщина неглупая) поняла: «В сущности, – писала она, – он там сидит также для того, чтобы спасти Кшесинскую и Сергея Михайловича...» Сухомлинов позвонил в главное артиллерийское управление и нарвался на генерала Кузьмина-Караваева, которому стал жаловаться, что на фронте пушки «расснарядили» все арсеналы, а заводы не справляются с требованиями фронта. Подскажите, что нам делать? Ответ ученого генерала Кузьмина-Караваева можно было бы высечь на его надгробном памятнике.

– Заключайте мир, дураки! – отвечал он министру...

На что Сухомлинов дал ответ – из области анекдотов:

– Вот бы мою Катерину назначить к вам начальником: снарядов и патронов было бы у нас – хоть всю жизнь стреляй...

Артиллерия в один день войны пожирала 45 000 снарядов (только в обороне), а заводы давали в день самое большее 13 000 снарядов. Скоро навалилась новая беда: нет винтовок, а у кого есть винтовка, нет патронов. Янушкевич докладывал министру из Ставки: «Волосы дыбом при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму... Много людей без сапог отмораживают ноги... Там, где перебиты офицеры, начались массовые сдачи в плен». На фронт срочно отъехала жена Сухомлинова с «царскими подарками», в раздаче которых ей доблестно помогал патриотически настроенный Манташев... Сухомлинов рассказывал Николаю II:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.